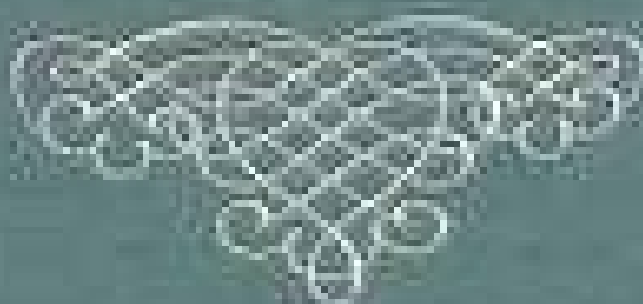


А. А.
БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

Сочинения



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Наезды

Повесть 1613 года

Посвящена Ивану Петровичу Жукову

Глава I

В поле витязь удалой!

Жеребец играет лютый;

С нетерпенья сокол твой

Рвет серебряные путы.

Реет лань в тени елей:

Смычь собак, седлай коней!

На правом берегу Великой, выше замка Опочки, толпа охотников расположилась на отдых. Вечереющий день раскидывал шатром тени дубравы, и поляна благоухала недавно скошенным сеном, хотя это было уже в начале августа, – смутное положение дел нарушало тогда порядок всех работ сельских. Стреноженные кони, помахивая гривами и хвостами от удовольствия, паслись благоприобретенным сенцем, – но они были под седлами, и, кажется, не столько для предосторожности от запалу, как из боязни нападения со стороны Литвы. В тороках у некоторых висели зайцы, лисы, куропатки, цапли – знаки удачной охоты и вместе с тем доказательство, что поезд остановился тут не ночлегом. Иные охотники кормили соколов, посвистывая и взбрасывая их на воздух при каждом кусочке; другие снимали кожу с затравленных зверьков, но большая часть лежала или сидела у кашеварного огня, между тем как собаки, сомкнутые и сосворенные подвойно, затягивали голодным голосом песню нетерпения, которая заключалась обыкновенно громким ударом арапника. Народу было около сотни, но по осанке и одежде, равно как на самом деле, толпа делилась на два особые круга. Первые были все в одинаковых бараньих шапках с висящею набок тульею и почти в единообразных полукафтаньях. Через плечо у каждого висел рог с порохом и небольшая лядунка для пуль. Самопалы их вместе с копейцами для сошек составлены были в козлы, с навитыми на приклад фитилями. Между ними заметно было более порядка, более важности. Они с некоторою гордостью посматривали на своих спутников: это были стрельцы.

Другая половина отличалась пестротой нарядов и разгульными ухватками – это была дворня: конюшенные, сокольники, ловчие, псары – кто в казацкой куртке, кто в татарском бешмете, кто в польском контуше, кто в русском летнике – в обносках разных господ и разных пор – живая летопись мнений и сторон, к коим попеременно приставали недавно бояре. Они толпились,

бродили кругом, шумели, спорили, заигрывали друг с другом, между тем как настоящие слуги чинно укладывали кушанья на блюда, принимая их от приспешников, и носили к двум боярам, которые ужинали на раскинутом под березою ковре. Бранная, то есть расшитая шелками и унизанная по краям мелким жемчугом, скатерть лежала между ними, и на ней серебряные ложки, солонка, очень хитро сделанная уточкой, фляга и перечница – необходимое условие старинных обедов. Один из них казался очень молод – румяное, открытое лицо его выражало вместе добродушие и откровенность, но сверкающие черные очи обличали пылкие страсти; уста смыкались порой насмешливою улыбкою, и высокие брови выражали привычку власти и отваги. Другой был лет за тридцать с походом, необыкновенно дороден и веселого лица. Он ел, и пил, и говорил неумолимо, рушил дичину, подливал вина, потчевал и хозяйничал, не забывая себя.

– Здоровье царского величества, нашего нового государя Михаила Федоровича! – молвил он, поднимая кубок выше головы.

– Много лет благоденствовать! – ответил молодой боярин, и оба выпили духом.

– Хорошо винцо, хорошо и заздравье: имя доброго царя не поперхнется в горле. Не то было при Иване Васильевиче, когда наши старики глотали мальвазию за столом государевым, морщась, будто с горькой полыни, и здравствовали ему, щупая, тут ли уши! – сказал молодой боярин.

– Да, да, – прибавил другой, – я сам видел своего роденьку, боярина Титова, над которым изволил пошутить Грозный: окорнал ему ухо собственною рукою. Сказывают, что Титов бил челом за милость, за царское пожалованье; только между своими он пел другую песню, так что братья затыкали уши и запирали ставни.

– Не держали и ставни и запоры от слова и дела и кромешной опричнины: тогда был бы навет – ответа пыткой добьются. Помню я, дядя Агарев, как, бывало, меня ребенком пугивали: «Не плачь, Степан, – опричник съест!» И они впрямь были людоеды по зверской душе своей. Народ как дождь рассыпался, завидя черную тафью, и купцы покидали незапертые лавки. Как ты ни лаком до заздравной чары, дядя Наум, а и у тебя, чай, отпала бы охота целоваться с ней, видя, как жарят товарищей на угольях или пускают в народ медведей для потехи, среди Кремля белокаменного.

– Иное время, иное бремя, князь Степан. Грозный отбил власть у ханов и целиком переложил ее на нас со всею татарщиною. Он был злой человек, прости господи его душу, – а умный царь. Москва дрожала, князья и бояре ползали в унижении, зато соседи уважали нас, и Русь была тиха...

– О, тише воды и ниже травы – тише степной могилы после Батыева нашествия! Куда велика радость русскому, что соседи ему кланялись, когда всякий опричник топтал его под ноги, когда доброе имя и добром нажитые деньги зависели от первого доносчика, когда душа в теле и жена в постели принадлежали слугам и причетникам царским. Желая знать, утешна ль бы была сорока тысячам новгородцев, умирающих под долбнею, – старая погудка, что это побоище будет невесть как полезно их внукам!

– Дело ужасное... грех и вспоминать, не то что оправдывать. А все-таки царь Иван русской кровью спаял русское царство!

– Надолго спаял, нечего сказать! Если б не сильная рука Бориса – наша Русь прежде самозванцев распалась бы, как бочка без обручей. Лучше бы сказал ты, что он сломал стрелы, желая чересчур крепко связать их. Чуть не стало первого самозванца, набежало их дюжинами, и пошли играть короною, словно мячиком. Один кричит: подавай нам Владислава, другой хочет шведского королевича, третьи ждут самого Жигимонта, а всё помня царя Ивана, – он набил им оскомину. Счастье наше, что у всех русских один язык, одна вера

православная: у нас не было головы, но было сердце ретивое, и в нем любовь к отечеству – она-то победила искусство, и силу, и храбрость неприятелей, слава Богу и князю Пожарскому! Теперь не станут враги издеваться над нами среди столицы – теперь мы избрали себе царя по мыслям и купцу, и чернецу, и доброму молодцу. Да здравствует род Романовых в годы годов и в роды родов!

– Да здравствует в честном мире и на ратном пире!

– Увидишь сам, дядя Агарев, что царь Михаил спеленает Русь любовью гораздо крепче, нежели Грозный страхами!

– Говорят, молодой царь такой добрый, приветливый...

– Спроси у меня – что твое солнышко! Бывало, без аршинной бороды и не выглядывай из-за думных бояр, а теперь государь всякому найдет словечко: старому и малому, – а говорит, словно райской птицей поет. Когда едет верхом в Успенский собор к обедне – так народу, народу... Яблоку негде упасть – и все толпятся у стремени – всем он доступен и милостив, кланяется на обе стороны, роняет слова ласковые, раздает милостыню, обещает каждому суд и правду. Ну, право, он будто сошел с неба примирить все стороны и залечить все раны.

– Дай Бог, дай Бог успеху! пора отдохнуть святой Руси... Только она, как море после бури, бушует при берегах, хоть вихорь замолк посредине... Поляки еще в Смоленске.

– Мы их выгоним.

– Горн и Делагардий держат Новгород...

– Мы его выкупим.

– Легко сказать, князь Степан: наша родина истощена золотом и людьми, а поляки и шведы не дорожат грабленным и вербуют свои полки всякою сволочью: против нас венгерцы, против нас шотландцы, французы, всякая чужь белоглазая, – и когда дело дойдет до грабежу, то свейцы и литовцы стоят заодно... Бьют со всех сторон, а помощи ниоткуда... Я радехонек, что тебя прислали на смену, – а то ни днем ни ночью покою нет... Набеги на окрестности беспрестанные и от немецких и от польских дворян... и то бы драться не драться с воинами – а то все либо налеты, либо разбойники – не из чего рук марать: славы и добычи ни блески.

– Где опасности, там и слава. На Москве не надвоятся, как ты здесь держишься до сих пор, когда самый Псков в осаде.

– Я как бельмо на глазу и немцам, и шведам, и Литве, да крепостца на острове, стрельцы удалые – никто и не сунется. Где добыча одно железо – туда мало охотников. Да что толковать о здешней стороне: послужишь – все узнаешь. Расскажи-ка лучше: что слышно про митрополита Филарета, отца государева?

– Ждут в Москву: к Жигимонту с вестью об избрании царя послан дворянин Оладыин; надеются, что король согласится на размен или выкуп и на мирные предложения.

– Я чай, наши братья гуляки, чтобы понравиться царской матери-инокине, теперь степенничают, ханжат?

– Всего есть довольно, и я бы советовал тебе, дядя Наум, оставить здесь половину дородства, чтобы твой растянутый кушак и красные щеки не были укориною иным великопостным лицам, которые уж ни свет ни заря собираются к заутрене в Архангельский собор молиться Богу, чтобы люди их слышали. Впрочем, молодой царь хорошо знает, что прилично монаху, что мирянину, и хоть прежние попойки перевелись в беседах палатных, однако он не прочь от скромного веселья.

– Только бояре до него не охотники... не правда ли? да и тебя, князь, калачом бы сюда не выманили, если б при дворе было очень весело: мы привыкли к удальству и раздолью военному – так мерный кубок не для наших губок!

– Чуть-чуть неправда: мне наскучила однообразная жизнь дворцовская – наскучило не иметь досуга, не имея дела; да притом, семь лет дравшись под открытым небом, – мне что-то душно в Грановитой палате. Позвонки мои забыли гнуться под латами – а там, брат, надо увиваться около любимцев.

– К слову стало, князь, – кто любимцем у молодого царя? Ведь нельзя же без этого?

– То-то и беда царская: возьмет любимца, как тросточку для забавы, – посмотришь, он станет клюкою, так что без него ни на шаг. До сих пор на царя грех сказать – глядит своими глазами, слушает своим ухом, – но кажется, в это ухо Солтыков золотую серьгою вдевается; он недаром ко всем лисит, перед всеми поклонничает. Впрочем, это одни догадки.

– Для меня все это было бы загадками: спасибо, князь, что надоумил. Тому, кто едет из стана в царские палаты, надо знать, где восток и где север, чтобы не заблудиться и не простудиться, чтобы знать, где живет Яга-баба, где растут золотые яблоки, где ключ живой воды. У двора и поклоны в счет и слова на весы кладут, когда мы не думаем считать ни ран, ни ударов. Да, как ни вертись – а придется с соловьями петь по-соловьиному!

– Предсказываю тебе, дядя Наум, что ты будешь плохой певчий; наше дело по-волчьи – так дадим себя знать.

– И рад и не рад, князь Степан, да отцовская воля гонит с поля; пишет и наказывает: я-де стар, хочу при себе пристроить тебя, хочу перед гробовой доской порадоваться, что и ты взыскан царскою милостию. Надо потешить старика; притом же и своя служба затеривается. Сам ты знаешь, умная голова, кто при светлых очах бьет мух, тот почетнее того, кто заочно бьет неприятелей, – и я хоть осьмью годами старше тебя в роду и по службе – а все такой же стрелецкий голова. Мы в этом крае не сидели сложа руки, и в течение четырех лет я почти не снимал стальной рубашки, не слезал с коня боевого, то под Новгородом, то под Псковом, то под Изборском, отражая и сторожа, сегодня гоним, завтра нападчик, и хоть не всегда с удачей, зато никогда с бесславием. Служба моя налицо – и на лице. Этот рубец на лбу – место печати. И саблю точат после боя с маслом: надо же и воину ободрение.

– Небось забирает охота покормиться: на воеводство, в теплое местечко, хоть и в холодный край. Дельно, дядя Наум, право, дельно. Здоровье будущего тобольского воеводы!

– А чем бы я не воевода, например, так сказать? Право, из рук не вывернется перо и с плеча не свалится соболя шуба. Была бы булава, будет голова. Власть дело великое.

– Не смани ты и меня в воеводы, дядя Наум; правда, зариться-то не на что: казаки, поляки и недруги так очистили матушку Русь от моря до моря, что воеводе придется после них подбирать теряные подковы, а то не только что в сундуках – да и в реках и в лесах они за пять лет вперед взяли оброки. Да не в том сила, дядя Наум; ты метишь в воеводы: с Богом. Только мне сдается, что судейский стул не сивка-бурка, как в сказке сказывается: «в одно ухо влезешь дураком – из другого выпрыгнешь умником».

– Свят, да не искусен, князь Степан! Я не говорю, что от важности станешь разумнее, а только разумнее покажешься; и если у двора скажут: «то-то делец!» – так во всей Москве целую неделю будут звонить про мое уменье. Ведь у меня не без родных, не без милостивцев, чтобы в случае покрыть промашку или пуще меду вспенить доброе дельце. Ты, кажется, говорил, что крестовой мой брат Акинфий Семенович пожалован в кравчие?

– Говорил, и повторял, и пересказывал, кто спальники и постельники, кто стольники и

сокольники, начиная с главного конюшего до последнего истопника; перебрал я тебе ближних и думных бояр с путем – и нас, беспутных деток их, – да все это мне так надоело, что я на целый день прошу отдыха. Изволь-ка теперь отвечать на мои вопросы: есть ли здесь в окрестности красавицы? Отчизна Ольги искони славилась ими.

– Если б ты спросил меня, есть ли здесь медведи, я бы знал, как ответить тебе: я знаю наперечет все лисьи норки и заячьи тропки на сто верст в окoliце. Красной зверь – наше дело, а за красными девицами некогда ухаживать... Чуть свободный часок от службы или от битвы – я сейчас в отъезжее поле, – ты видел, каковы у меня борзые! Вот, например, этот зверек (треплет собаку) в жизнь не скакал на вторую угонку – лишь бы завидел косоного, то как свечка загорится, не успеешь тороков распутать. А вот с тем палевым, с подпалинами, в одиночку волка струню; раз, два – да и обзель! Про гончих и говорить нечего – что твоя музыка, когда по горячему следу зальются... Прошлый год перед Покровом...

– Ради Бога, помилуй, дядя Наум! полно охотиться по полю, а ты пускаешь стаю по скатерти.

– Как хочешь, князь, а мне веселее вспоминать, как я гонял, нежели как меня гоняли: не больно счастлив я был в своих задушевных проказах, и если, глядя на других, дурачился при самозванце, когда было раздолье молодежи, так это более из шалости, чем по склонности.

– Не тем ты глядишь, дядя Наум, чтобы очи с поволокою и лебединая грудь не разогрели в тебе ретивого!

– Моя милая неразлучная, князь, – эта фляга. У меня сердце прыгает, когда я ласкаю любезную ее шейку, – а поцелуюсь с ней – искры из глаз сыплются. Не хочешь ли перемолвить с роденькою – ведь вы оба Серебряные! В ней же сегодня заморский ум...

– Этот гость хозяина вон выживает: у меня и то голова кружится.

– Пустое, приятель: пей посмелей – ум хорошо, два лучше.

(Чокаются и пьют.)

– Все это правда – только до тебя, дядя, не доедешь околицами: помнишь ли ты Вариньку Васильчикову – ту самую девушку, лет четырнадцати, на которую не раз любовались мы в царских сенях, когда тетка ее, княгиня Татеева, приезжала на поклон к Марине?

– Кажется, припоминаю... мы, впрочем, глазели тогда на всех пригоженьких, рады, что по новому обычаю они стали ездить во дворец без фаты... ну да что же из этого?..

– То, что у меня сердце памятьнее твоих глаз. Ты знаешь, что, сдружась с поляками, я был принят хорошо даже у царицы, а старуха княгиня, не помня души в своей племяннице, везде таскала ее с собою. Это дало мне случай познакомиться с ней покорооче, – словом сказать, девушка мне крепко поглянулась. Вот настала и суматоха, и мы давай рассчитывать за хлеб, за соль с гостями незванными, давай резаться с прежними друзьями. Я был сперва под знаменами героя Шуйского-Скопина на севере, а потом, когда он умер, когда семибоярщина сверзила царя Василия, то с разными налетами, не сходя с поля, дрался я то с самозванцами, то с запорожцами, то с поляками, перелетал из места в место, и, разумеется, мне некогда было думать о невесте. Когда справили мы под рукою Пожарского знатные проводы Жолкевскому – и победителями вошли в Москву, – грусть меня взяла пуще прежнего: днем и ночью все она перед глазами; я ходил, будто потерял что драгоценное, – и что ж узнаю? Княгиня Татеева умерла, а мать, сказали мне, увезла Вариньку в псковские свои вотчины. В это время пришла моя челобитная об увольнении; трехлетняя разлука меня истомила – я решился. Прошусь на твое место осадным стрелецким головою в Опочку и, назначенный, скачу сюда сломя голову...

– Чтобы найти свой клад похищенным! Дворянка Варвара Васильчикова два года как увезена литовцами.

– Увезена! – вскричал князь Серебряный, пылая гневом, – увезена! И ты, военный начальник здесь, не заставил возвратить добычи, не искал, не отбил ее? Русскую дворянку выкрали из-под твоих пушек, и ты говоришь о том, как о продажной курице! Между тем, если бы у тебя отбили бочонок с фряжским вином, ты бы весь край поднял на царя. Это непростительная беспечность, это стыд русскому!

– Все ли ты кончил? – хладнокровно сказал Агарев, расправляя усы свои и барабаня пальцами в донышко опрокинутой стопы.

– Я бы не кончил до Воздвиженья, когда бы упреки мои могли быть так же черны, как твоя леность!

– И если б слова помогали чему-нибудь. Садись и выслушай терпеливо. Вотчина Васильчиковых лежит под Изборском. Приезд в нее богатой барыни из Москвы скоро стал известен всем окольным разбойникам, но многолюдная дворня пугала их. Наконец, два года тому назад, предместник мой был убит в стычке с немцами, и пан Жегота, шляхта, вахмистр панцерников, недалеко за Великою живущий, воспользовался безначалием, вкрался ночью далеко в наши границы и с шайкою своею напал на дом Васильчиковых, разграбил его, перебил людей и пять девушек, в том числе и боярскую дочь, увез с собою. Что я за ними не гнался, это очень естественно – меня еще тогда здесь не было, а впоследствии и без того было дела довольно.

– Но что же думали ее родные, кровные? Они могли бы ее выкупить золотом, если не железом?

– Вестимо так, да дядюшка ее, князь Татев, опекун ее брата, прижался да и знать ничего не хочет, а мать вскоре умерла с печали. За сироту некому вступиться.

– Подлые души! Но где же томится пленница?

– Никто наверно не знает. Говорили, что бездельник, который увез ее, держит ее взаперти. Впрочем, подобные случаи здесь не редкость, так молва перепала, и Варвара как в воду канула!

– Хотя бы на дно моря – я и там отыщу эту жемчужину. Разбойник Жегота близко живет, говоришь ты?

– Верст пятнадцать отсюда; это преотчаянная башка, он уже не раз угонял наши стада из-под самых стен замка, и хоть мы не оставались в долгу, но увертливая шельма, до сих пор не попался в петлю, которую поклялся я ему пожаловать.

– Вот тебе рука моя, что этому коршуну не летать больше на воле. Трубач, тревогу!..

– Что ты хочешь делать, князь Степан? – вскричал изумленный Агарев, между тем как трубные перекаты раздавались в окрестности и стрельцы опрометью кидались к коням, уздали их, зажигали фитили; все мигом было готово: и дворня, и охота, и дружина стрелецкая. Князь молчал, но очи его сверкали, ноздри вздувались, и рука нетерпеливо сжимала рукоять кинжала.

– Что ты хочешь делать? – повторил Агарев.

– Заплатить наездом за наезды. Пусть знают эти панцерники, что новый голова не даст им солить впрок русских баранов, не только что торговать красавицами.

- Вспомни, князь, что ты сам привез царское повеление – не начинать бою без нападения, чтобы не помешать переговорам о мире.
- Мир заключают не с разбойниками.
- Но ты вторгаешься в польскую землю.
- Земля Божия – и русские не отказались еще от края, который в старину принадлежал им.
- Не лучше ли подождать: нам велено подать списки захваченных в плен, и, верно, их вытребуют от Речи Посполитой.
- Знаю я, как слушают паны своего короля и сената. Как бы не стал я перебирать день за днем, словно четки, – или отражать копыя перьями! Князь Серебряный булатом добудет правды!
- Либо рухнет в опалу. Подумай, князь.
- Боярин Наум Петрович, – я не зову с собою робких... Ты сдал мне начальство – теперь не твоя, моя голова в ответе...
- Никто не отнимает у тебя ни воли, ни власти, князь Степан, и ты обижаешь меня, старого друга, думая, что я удерживаю из трусости. Когда ты решился, я не отстану от тебя – пускай вправду окольные разбирают, что право, что неправо, – наше дело руби – да и только. Я докажу тебе, что мои стрельцы – удальцы на эту работу: я не давал ржаветь их клинкам.

Друзья обнялись. Князь послал гонца к старшему сотнику с наказом принять начальство. Из охотников выбрали только молодцев и хорошо вооруженных – прочих отослали домой. Надели кольчуги, шлемы.

– На коней! – закричал князь Серебряный, – товарищи, – на Литву!

С этим словом он сжал коленами коня своего и первый спрыгнул в Великую. Стрельцы съезжали в разных местах, и радостные восклицания: «на Литву, на Литву!» далеко раздавались по лесистым берегам реки пустынной. Солнце садилось.

Глава II

Однажды по ночи глубокой
Мы слышим воющий набат,
Вдали стенанья, вопль жестокий
И тучи заревом горят.
«К коням, седлай, бесценно время,
На пояс меч, и ногу в стремя!..»

Ночь была темная, дорога лесом дремучим. Проводник ехал впереди по излучистой тропинке;

за ним начальники, за ними по двое стрельцы, тихо, безмолвно. Изредка слышалось храпение коня, или бряк узды, или удар подковы в подкову. Повременно вожатый останавливался, и тогда дремлющие всадники насовывались друг на друга. Он прислушивался, иногда припадал ухом к земле – и опять вскакивал на коня, и поезд снова трогался далее.

– Близко ли? – спросил князь у проводника вполголоса.

– Вот из города, – отвечал тот, – вели, батюшка князь, изготовиться к делу: неровен случай, всполошатся раньше времени, а ведь эти головорезы с лезвия берут и только с лезвия уступают добычу!

Князь подъехал к Агареву.

– Друг, – сказал он, – решительный час близок – сердце у меня будто хочет выпрыгнуть из груди: это перед свиданием с милою.

– Либо с могилою, – возразил Агарев. – Ну, что ж вы стали? собаки скоро нас пронюхают. Надобно обойти селение!

Тут он отсчитал самых отчаянных в середине, назначил, кому отрезать конское стадо, кому напасть с улицы.

– Пан Зеленский, – сказал своему стремянному князь Серебряный, – этот стрелец проводит тебя к дому пана Жеготы, ты перелезешь с огорода и осмотришь, что там делается, между тем как товарищ отвлечет собак к воротам.

– Видно, что был в науке у лисовчиков, – ворчал Агарев.

– Да, брат, ведя четыре года разбойничью войну, поневоле научился разным хитростям, чтоб не остаться внакладе.

– Да заметь, где висят оружия, пан Зеленский, – примолвил Агарев, – и нет ли куда боковых выходов. Надо, как шапкой, накрыть это ястребиное гнездо, а то, говорят, у них есть подпольные норы – мигом дадут стрекача.

– Будет все исполнено, – отвечал стремянный, надевая шапку, – я привык лазить по стенам, словно кошка, и вижу ночью, как рысь.

– Что это за выходец? – спросил Агарев Серебряного, когда Зеленский удалился.

– Польский шляхтич: служит у меня стремянным.

– И ты доверяешь ему в польской земле?

– Для него Польша – теперь не отчизна. Он служил шеренговым под командою полковника Лисовского и, бушуя пьяный, дерзнул выхватить против него саблю. Лисовский не любил шутить – и его ждала петля вместо похмельного стакана. Это было под Троицею – он бежал и явился ко мне, прося защиты. С тех пор он служит мне очень верно: я не раз имел случай убедиться в его преданности. Всем хорош, только чуть попало за ухо – так и черт ему не брат. Постой, кажется, это выстрел!

– Нет, только собаки возрились. Ого, уж приступом лают, теперь и нам пора поближе.

– Отдайте коней в завод – мы пешком проберемся вслед Зеленского. Там главная засада – там лучшая добыча. Вперед, товарищи, – да тише тени!

Зеленский влез на высокий плетень подле самой хаты Жеготы, и взоры его упали прямо в окно. При тусклом свете одной свечи лишь до половины видна была внутренность комнаты. Стены увешаны были звериными шкурами и оружием, пол усыпан болотной травой. В одном углу рослый молодой мужчина чистил пистолет. Подле стола старуха показывала жиду, пред ней стоящему, разные золотые украшения, на которые жадно смотрел он, потряхивая пейсиками. В другом углу, подле высокой изразцовой печи, сидела статная женщина в русском сарафане и горько плакала, закрыв лицо руками. Никто не обращал на это внимания.

– Але сто тридесяц злотых будет досыц, пани Охмистрина, за эци сережки, – говорил жид, играя перед свечкой широкими подвесками. – Вода в жемчугах мутновата!

– Глаза у тебя мутны, хриstopродавец! – отвечала старуха, – да эдаких перлов сама пани Воеводина во сне не видала. Навесь эти серьги хоть на моську, так на ее уши станут заглядываться пуще, нежели на хваленые глаза пани Завиши. А что ты оцениваешь это ожерелье, решетная совесть? Говори, не заминайся.

– А стось, оно бы недурно, да переделки много; иной камень лопнет, оправка угорит – такой моды уж давно нет у вельможных паненок.

– Куда больно спесивы твои паненки! Да знаешь ли ты, что это ожерелье было на окладе у пресвятой Катерины-мученицы под Изборском, так после нее не стыдно и старостине надеть! Видно, Лейба, с тобой не пивать мне литок. Ко мне обещал быть Иоссель из Риги с ярманки, так с ним поскорее сделаемся: навезет всякой всячины, так что глаза разбегутся. Деньги на безмен и товары на промен: выбирай, чего твоей душеньке угодно.

– Але, пани Охмистрина, и мои злоты не обрезанные.

– Не стрижены, так бриты, не купаны, так обшарканы; уж знаком ты мне вподноготную! В прошлый раз много было недовесу в твоей расплате.

– За стось сердиться, пани Охмистрина? Ведь я не кую денег.

– А может, куешь и плавишь! Береги свой загривок, Лейба, я кое-что знаю. Попадешься в когти белому орлу, так и воронам достанется позавтракать!

– Але не гневайся, ясневальможная, – возразил оробевший еврей, – рука руку моет; мы же добрых людей не обегаем – даю десять червонцев за этот перстень.

– Иезус баранок Божий! только десять червонцев – ах ты, пеньковое семя! Да одна осыпка стоит более.

– А же пану Зеготе эции клейноты дешево пришлись.

– Смотри, пожалуй! он ни во что ценит кровь христианскую! Прошу прислушать, Яся, – то, что вы добывали из огня и воды, подставляя шею под топор и саблю, для него безделица, дрянь!..

– Что с ним долго толковать, – отвечал угрюмо сын старухи, – мне хочется попытать новый пистоль на черепе этого искарюта.

Он взвел курок, испуганный жид упал на колена. В это время послышался лай собак у подворотни.

– Это отец, – сказала старуха, – поди, Яся, отвори ему калитку; он, чай, не с пустыми руками воротился.

Но собаки замолкли, и не слышно было никакого стуку.

– Нет, это не он, – сказал Яся, прислушиваясь, и захохотал, увидя, как жид увивается у ног его, прося пощады. – Полно кланяться, полно, ведь ты лбом злотых не напечаешь. Как ты думаешь, синайская пивка, знаю я или нет, что ты продал пана Цыбульского, моего закадычного друга, гетману, когда тот свел с конюшни его арабского жеребца?

Жид побледнел как полотно, услыша это обвинение.

– Конечно, пана Цыбульского не воротишь из аду – однако ж как тывил ему веревку, чтоб туда спуститься, так ступай же туда обмеривать его старую водкою. Подавай деньги!

Жид, трепеща, опустил руку за пазуху, но медлил – ему, казалось, трудней было расстаться с кошельком, чем с жизнью.

– Подавай! – закричал разбойник громовым голосом. Еврей отдал ему кошелек, но все еще держался за ремешок.

– Не погуби, не разори, – вопил он, – будь ласков!

– Я тебя приласкаю, – зверски сказал Яся, ударив жиди по руке. – Ну, Лейба, душа твоя у меня в кармане – пора и туловище записать в расход. Лучше и не теряй слов на ветер! Пустит тебя живого, так не оберешься хлопот да жалоб, – а по мертвом жиде не поют панихид ни монахи, ни судьи! – Он медленно поднял дуло, забавляясь отчаянием несчастного. Видя это, сидящая в углу девушка с воплем кинулась удерживать руку убийцы.

– На то ли вы томите меня в неволе, чтобы кроме своих горестей быть свидетельницею злодейства!

– Прочь, – вскричал с негодованием Яся, отталкивая ее, – прочь, если не хочешь камня на шею и в пруд головой! Что ты, матушка, дала волю этой девчонке – благо полюбилась брату Яну плакса негодная. Прочь, говорю!

Старуха схватила пленницу, желая ее вытащить, та упиралась, жид кричал – эта борьба раздражила разбойника – он вытащил его на середину – и упер дуло в грудь.

– Помилуй! – шептал полумертвый жид.

– Спасите! помогите! – восклицала девушка.

– Это она! – произнес кто-то под окном; выстрел сверкнул, и разбойник безгласен упал на землю. Стрельцы на этот знак со всех сторон ворвались в дом и в село. Крайняя изба запылала, чтоб отманить мужчин на пожар. Вопль испуганных женщин, плач детей, крики грабежа, завыванье собак, выстрелы и звон оружия раздавались на улице; зарево играло в небе. Наконец всё уступило отваге – вооруженные и безоружные бежали в лес. Стрельцы таскали рухлядь, выводили скотину, ловили птиц, – одним словом, поступали по-военному. Агарев с распростертыми объятиями бежал к другу.

– Поздравляю, брат, поздравляю, – кричал он издали, – наконец ты нашел свою Вариньку!

– Нет, – отвечал Серебряный сердито.

– Как нет? Да разве та красивая девушка, которую велел я выпроводить из драки и беречь как зеницу ока, не...

– Не та, которую я ищу. Она тоже русская пленница и недавно увезена из-под Острова этим бездельником Жеготою. Он, кажется, дал зарок перетаскать всех наших красавиц в Польшу,

но будь я не князь, а грязь, если он не расплатится за свои разбои головою. Мне одно всего досаднее, что я наделал столько шуму даром.

– Как даром? Добыча презнатная: у этих панцерных разбойников лари не пустые – да и рогатого скота, кроме коней, голов двести.

– Что мне в них, когда не поймали ни куницы, ни волка, пусть ад закабалит мою душу, если я не полечу головней и не размету конским хвостом пепел замков магнатов окрестных, если мне не выдадут пленницы. Притащите ко мне старую ведьму, мать Жеготы.

Старуху привели бледную, дрожащую, с растрепанными волосами, – она рухнулась в ноги разъяренному князю.

– Разорил вконец, не сгуби хоть души, родимый, даруй час на покаяние! – сказала она.

– Старуха, – возразил Серебряный, – если бы тебе три прежних века оставалось жить на белом свете – даже их бы не стало замолить все грехи твои, и те, которые потакала ты в сыновьях, и те, на которые наводила. На твоём пороге дымится кровь гостей, и руки твои привыкли считать цену чужой гибели. Не жалуйся на разграбленное: что приходит, то и уходит неправдой... Однако послушай, я ворочу тебе треть твоего добра, отпущу самое на волю, если ты мне скажешь без утайки, куда девали вы пленную дворянку Варвару Васильчикову.

Старуха всхлипывала и молчала; страх мужа оковал язык ее.

– Куда вы девали Варвару Васильчикову? – вскричал вспльчивый князь, скрежеща зубами. – Говори или ты будешь молчать до Страшного суда. Я горячим свинцом припечатаю язык твой к гортани, змея подколотная! Признавайся, где она.

– Муж мой отдал ее вместо погодной платы за зеленпольскую аренду, – отвечала наконец уstraшенная старуха.

– Но когда, но кому продал он?

– Вельможному пану Колонтаю режицкому.

– Иду на Колонтая! – грозно вскричал Серебряный. – Пан Зеленский, свежего коня и тридцать стрельцов за мною!

– Стой, князь, – сказал решительно Агарев, заступив ему дорогу. – До сих пор наезд наш был только вздорен – он будет безрассуден, если ты пойдешь далее. Горсти людей недостаточно.

– Храбрость крепче силы.

– Но обе вместе крепче одной храбрости: подумай. Заря скажет полякам, как мал отряд твой; притом в рогах осталось не более как на пять зарядов пороху, и вас возьмут руками, словно мерзлых щуров, или перестреляют из-за деревьев, как тетеревов. Идти на славную опасность молодцу любо, но в бесполезную гибель – глупо. Как ты хочешь, я не пушу тебя.

Князь почувствовал справедливость этих доводов и потупил взоры, молча сжал руку Агареву, надвинул на глаза шапку и вышел на улицу.

– Готово ли? – спросил он.

– Все в порядке, – отвечал пятидесятник. – И в голове, и в хвосте поезда наряжены люди надежные, с саблями и копьями.

– Ступай! – вскричал князь; караван двинулся.

Назад возвращались уже прямою большою дорогою, и стрельцы ехали в несколько рядов. Захваченных коней и быков гнали в середине; раненых вели под руки. Многие из вершников были уже навеселе, все шутили, смеялись – рассказывали друг другу свои подвиги. Агарев, который везде и всегда сохранял свое равнодушие, старался развлечь, раззабавить друга – но тот ехал мрачен и печален. Вдруг остановился он, как будто какая счастливая мысль перелетела ему дорогу.

– Прощай, Агарев, – сказал Серебряный, – похозяйничай за меня в Опочке: я еду искать судьбы моей. Не спрашивай, как и куда, – если я не дойду и не выйду сам – так уж другие мне не помогут. Жди меня три дни, жди неделю – а потом давай знать родным и властям, что я пропал без вести.

– Удаливость и любовь заманивают тебя, друг, – возразил Агарев, – и заманивают напрасно. Кто тебе порука, что Варинька еще у Колонтая? Как увезешь ты ее, хоть бы она и там? Согласится ли она сама на опасное бегство, а пуще всего, проберешься ли ты до нее в земле, переполошенной наездом нашим? Теперь всякий на коне и всякий настороже – слышишь ли?

Далекий набат разносил тревогу в окрестности.

– Это звон моего свадебного или похоронного колокола: дело решено, и я не ворочаюсь с полдороги. Судьбы не встретишь и не догонишь, если самой не вздумается. Пан Зеленский, ты едешь со мною: выбери что ни лучших коней под себя и в завод – таких, чтоб убить да уйтить! Здесь ли мой дорожный чемодан?

– Здесь, – отвечал Зеленский, переседывая коней и пристегивая в торока что надобно.

– Возьми его с собою, а все тяжелое оружие отошли домой: теперь нам нужнее лисий хвост, чем волчьи зубы. Готов? – вперед. Прощай, любезный Агарев, – не поминай лихом!

– Да сохранит тебя Николай-чудотворец и Тихвинская Богородица – в дальней дороге и на чужом пороге! Дай Бог свидеться подобру-поздорову.

Друзья обнялись – Серебряный помчался.

– Жаль мне тебя, умная, только буйная головушка, – примолвил Агарев, провожая глазами друга в темноте ночи и вытирая рукавом слезу. – Жаль тебя, доброе, только слишком ретивое, сердце!

Скоро умолк и гул топота. Агарев медленно поворотил коня и, задумчив, поехал догонять отряд свой.

Глава III

Вот едет он путем-дорогою, стороною далекою, и наехал он ни распутие: посредине столб стоит, на столбе щит прибит, на щите надпись, как жар горит: «Поедешь вправо – будет конь сыт, а сам голоден; поедешь влево – будешь сам сыт, а конь голоден; поедешь прямо – будут оба сыты и оба биты!» Иван-царевич призадумался: самому поститься – с силой проститься, на тощем коне я горе-богатырь – ни биться, ни драться, ни ратиться; поотведаем счастья на третьем пути: поглядим, кто побьет меня сытого, на свежем коне, при булатном копье? Старинная народная сказка

Наши путники под завесою темноты счастливо пробрались довольно далеко внутрь Люцинского повета.

– Вот и сам Люцин, – сказал Зеленский князю Серебряному, и князь взглянул направо: денница занималась, ленивый туман волнами поднимался с зубчатых стен замка, стоящего на холме, – и тихо лежал городок у ног его. Еще ни одна дверь не чернела, ни с одной трубы не вился дымок, и окружный лес, понемногу рассветая, отрясал на путников холодную росу. Далее к Режице (старинному Розитену) виды становились еще живописнее. Холмистый край испещрен был озерами, над стеклом коих бродили махровые пары; и дикие рощи, и зыбкие тростники отражались в неподвижном их лоне. Порой только звучно прыгала из воды щука или ныряла дикая утка; струи разбегались кругами и снова сливались в зеркало.

Зеленский ехал впереди и удачно поворачивал то вправо, то влево на тропинки, иногда для сокращения дороги напрямиком, иногда объезжая деревни околицами.

– Ты славно знаешь все закоулки, – сказал ему князь Серебряный, – я не ошибся, положась на слова твои заране.

– Как мне не знать этого края! Мы целый месяц стояли здесь с гетманом литовским Карлом Ходке ни чем, собирая силы на шведов, – да потом и разгромили их в прах, даром что их было втрое более. В то время я служил у пана Опалинского и не сходил с коня на полеванье. Зверям от нас было не лучше житье, как и людям, и я волей и неволей должен был узнать наизусть все заячьи стежки.

– Скажи, пожалуй, отчего мы не проехали ни одной деревеньки, которая бы походила на другую? В иных наши русские избы с узорными полотнами по кровле и высокими деревянными трубами в прорезе; в иных мазанки, с горшком для дымовья, в иных чухонские лачуги, у которых из каждой щели, как из жерла, чернеет копоть.

– Изволишь видеть, князь, край этот зовется теперь Польскими Инфантами и уступлен Польше немецкими рыцарями. От этого здесь есть и чудские переселенцы, и туземные латыши, и старинные литовцы, и настоящая польская шляхта, и беглые русские, которыми в особенности заселены пограничья. Да и между панамы такой же сброд: кто немец, а кто литвин, кто барон, кто князь.

– Ну, а хорошо ли они знают остальную Польшу и другой конец Литвы? Украину, Подолию?

– И все-то поляки, кроме своего округа, не знают, да и знать не хотят отчизны – а здешние медвежники всех менее. Варшавцы и краковяки смеются над ними; они презирают варшавцев и краковцев вместе и доказывают, что предки их были уже дворянами, когда в Польше жили одни лягушки.

– Тем лучше, тем лучше. Стало быть, нам без страха можно будет рассказывать сказки. Помни же, пан Зеленский, что я литовский дворянин Яромир Маевский, а ты шляхтич Стребала; что мы раненные взяты были в плен в Кремле и теперь, вымененные, возвращаемся домой через северную Русь, по приказу государеву, чтобы не столпить пленных на военной дороге к Смоленску. Говоря по-польски, как поляк, и зная почти всех бывших при дворе Димитрия, и в войсках коронных, и в полках Тушинского вора, я надеюсь порядочно подделаться к польскому ладу. Про тебя и говорить нечего: ты родовитый добродзей, а впрочем, всему делу авось.

– Все это хорошо, сударь князь, если не случится там никого из бывалых под Москвою; а как, на грех, какой озорник нас узнает? Не миновать тогда воздушного путешествия – у них суд короткий.

– Что ж делать, пан Зеленский, отвага ест медок, а робость – ледок. Волков бояться, так и ягод в глаза не увидишь. Смекай, что я насажу тебе: мне надобно выкрасть от Колонтая русскую пленницу – так ты хорошенько разузнай, где она спит, когда гуляет. Перещупай все затворы, пронюхай все лазеечки и держи ухо востро и коней в подпругах.

В это время они встретились с бедным крестьянином, который на низкой некованой тележке ехал за сеном и, завидя всадников, опрометью своротил с дороги и опрокинул в овраг свою повозку, – но вместо того чтоб поднимать ее, он только боязливо кланялся проезжим. На истощенном лице его написана была жалкая простота. Белый изношенный балахон прикрывал тело.

– Далеко ли до Самполя? – спросил князь.

– Близо, паночек, – ответил тот по-русски.

– Это значит, дай Бог поспеть туда к обеду, – заметил Зеленский, – здешнее «близо» длиннее коломенской версты.

– Однако ж как близо, добрый человек? – повторил князь.

– В старину было пять миль, паночек, да панья смиловалась: велела только трем быть.

– Добрая же у вас панья.

– И храни Бог, какая добрая: сама нам сказывает, что за нас в церкви молится; да пан эконо нас обманывает: последнюю корку и курку отнимает, а в год кожи две, три обновит – а все говорит: «Панья велела».

– Ну, брат Зеленский, это, видно, по-нашему: у ханжей и на Руси одним кошкам масленица.

– Какое сравнение, князь, житью русского мужичка с польским – тот не продается наряду с баранами, и, дождавшись Юрьева дня, – поклон да и вон от злого боярина. А здесь холопа и человеком не считают; его же грабят да его же и в грязь топчут. Я знаю одного пана, который отдает выкармливать своих щенков кормилицам, отымая у них грудных младенцев.

– Это клевета, – сказал Серебряный, содрогнувшись.

– Дай Бог, чтобы это была клевета. Что греха таить, князь, я вырос на отнятом хлебе, я привык с малолетства гулять на счет крестьянина и в чужбине и на родине; совесть у меня не из застенчивых, а, право, сердце поворачивается, когда посмотришь, бывало, что делают паны со своими холопами.

Князь долго ехал в молчании... время летело.

– Мы уж близо к замку пана Колонтая, – сказал наконец Зеленский. – Не худо бы нам пооправиться у этой речки. Везде по платью встречают, а по уму провожают.

– И в самом деле так, – отвечал князь, слезая, – дай-ка мне зеленый польский контуш да и сам нарядись побогаче – и будь если не умнее, то скромнее, чтобы заслужить хорошие проводы. Я прошу тебя для этого только мочить усы в чарке.

– Нет, князь, коли пить, так пить – а то незачем и нюхать. У меня губа словно грецкая губка, – чуть окунешь ее в вино, донышко и проглядывает, а голова хоть выжми.

– Делай как знаешь, пан Зеленский, но честью уверяю тебя, что если ты сам-друг проболтаешься, я из тебя сделаю крошку.

– Князь будет доволен мною. У меня шкурка хоть не черного соболя – однако ж для меня очень дорога.

И между тем он пособлял князю убираться. Зеленая бархатная шапочка, опушенная горностаем, покрыла темно-русые кудри князя. Такого же цвета и с такою же окладкою венгерка с серебряными жгутами обнимала стан. За золотым поясом заткнут был турецкий кинжал, осыпанный жемчугом и цветными камнями. Довольно узкие атласные порты скрывались в желтых сафьяновых сапогах – отличительный знак дворянства во всех землях славянских. Наконец князь перебросил на шею эмалевую цепь, на которой висели серебряные часы луковицею, выглядывающие из-под кушака. Кривая сабля довершала наряд князя Серебряного.

– Хорош ли? – спросил он, улыбаясь с самодовольным видом и глядясь через плечо в речке.

– Молодец! – отвечал стремянный, охорашиваясь сам в новом контуше. – И я теперь, как змея в новой шкуре, – красив и хитер. Давно, князь, не носили мы польского наряда, а по правде сказать, его стоит только надеть – так у всех паненок уже головы кружатся!

– Побереги свою, пан Зеленский. Однако солнце всходит на полдень... пора! – Он завернулся в широкий охабень, подбитый куницами, вскочил в седло, и оба поскакали к замку Колонтая.

Станислав Колонтай, старик лет за шестьдесят, тучный, подагрический и, как водится при богатстве и недуге, – весьма причудливый и своенравный, сидел под широким навесом на крыльце своего неуклюжего палаццо. Все сказанные достоинства выражались на желтом его лице, и длинные седые усы, которыми он подергивал беспрестанно, придавали еще более кислоты его физиономии. На нем надета была, как на китайском мандарине, желтая однорядка со множеством пуговиц, подпоясанная очень низко, ровно по обычаю польскому и для того, чтобы поддерживать двухъярусный его живот. Ноги, обутые в плисовые сапоги, покоились на подушке.

В стороне сидела жена его во французском круглом платье – старушка почтенная, но жеманная; далее несколько соседок, сын их Лев, статный мужчина с выразительным лицом, и паны гости, в которых ни один порядочный дом в Польше не имеет недостатка и в Страстную неделю. Паненки – существа, похожие на наших воспитанниц, покоевцы – род пажей, пахолики – род слуг и вся шляхетская молодежь, составлявшая застольную дворню, стояли или ходили сзади, шутили между собою, болтали любезности девушкам и, как водится, подтрунивали над своим патроном.

Младший конюший объезжал по двору пылкого жеребца, и пан Колонтай, держа в руке бич, изволил повременно им похлопывать, заставляя четвероногого новичка делать прыжки и дыбки. Дамы были заняты своим разговором.

– Добрже, пан Маштальярж, досконале! еще задай ему штрапацию: острожки в боки и хлыстом по крестцу, чтобы при осадке хвост на землю ложился... На одном шипу поворачивай, вот так, – да не балуй коня, когда он балует! теперь играй поводами, чтоб оскал не онемел...

– Добрый конь, – сказал хорунжий Солтык, взглянув на него, и снова обратился к даме, которой он что-то нашептывал.

– Настоящая арабская кровь, – примолвил один из подлипал хозяина, – орел, а не конь!

– Пряничный петух, – возразил с презрением хозяин. – Если на тебе выжечь тавро, пан Цаплинский, так ты столько же будешь араб, как этот жеребчик! Не то бы вы запели, господа, если б вам удалось видеть моего рыжего в масле коня, чистой персидской породы, которого добыл я, когда мы с Замойским разбили турок. Змеем подо мной совьется и ветром по полю носится, копытом из милости на мураву ступает. Только стало бы уменья сидеть на нем, а то

уж любо поскачет.

– Пан Станислав слыл удалым наездником, – приветливо молвил режицкий судья Войдзевич.

– Да, честь имею доложить, мы за Батория позвенели на свой пай палашами, и в те поры у нас молодцами хоть мост мости, а Колонтай между ними был не последний. Бывало, как выеду гарцевать в деле – так други и недруги пальцами указывают. Ныне другие времена: новопольская молодежь лучше любит ласкать дамские ножки, чем сабельные ручки.

– Мы слыхали, что и пан Станислав в молодую пору был присяжным угодником и любимцем красавиц, – сказал Войдзевич.

– Добрже, добрже, пан Сендзья, что было, то было; только мы в старину не забывали славы для волокитства и не вековали в женских уборных. А вы чересчур изневестились, панове!

– Мне кажется, – возразил Лев Колонтай, – что батюшка напрасно обвиняет нас в изнеженности. Уважение к дамам не тушит, а раздувает в нас пламя саволюбия, и недавние победы над русскими доказали, что мы достойны своих предков.

Пан Колонтай принадлежал к общему разряду стариков, для которых все настоящее дурно и все минувшее прекрасно, потому что тогда они были молоды и могли блистать. Желчь в нем разыгралась еще более от противоречия сына, которого он называл Лёвинькой, хотя тому минуло уже двадцать восемь лет: дети в отцовских глазах вечные недоросли.

– Победы? – вскричал он насмешливо, – нечего сказать, славно побеждали твои товарищи под Троицким монастырем и в Москве. И поделом, не вступайтесь за всякого бродягу. Панна Марина повела вас за хвостом своим, а за Жигмунтовы усы выпроводили молодцев.

– Дело доказывает лучше споров, батюшка. Наши вывезли из Москвы до тысячи возов драгоценностей.

– Так слава коням. Кто идет вперед, тому нужны брони, а не кони!

– Беглецы не приводят в торжестве пленных царей за собою!

– Полякам должно краснеть таких торжеств. С бою ли, честью ли взяли Василия? Нет: из монастыря и обманом, да и давай показывать варшавским зевакам за царя человека, их же происками постриженного в монахи; давай прозой и стихами величать себя победителями, потирая бока. Вот весь ваш хваленый поход на Москву!

– Конечно, он стоит похода Батория на Псков, – сказал раздосадованный сын.

Старик закипел.

– Конечно, да там победили нас вьюги, а не люди, зато мы и не хвастались успехом. У кого довольно серебра, тот не натирает ртутью шелегов. Там потерял я лучшего друга и лучшего коня, и с тех пор я поклялся вечною ненавистью к русским, и пусть черт из костей моих выточит игральные кости, если хоть один русский, попавшись ко мне в руки, вырвется из них живой, и мне всего досаднее, когда вы бьете их только словами!

– А взятие Смоленска? – заметил Войдзевич.

В эту минуту князь Серебряный показался в просеке, в сопровождении своего стремянного. Общее движение любопытства очень кстати прервало порыв раздражительности старого Колонтая, и он сам, отенив глаза рукою, принялся рассматривать, кто едет.

– Это Иозеф Бржестовский... – сказала одна панна, – то-то он навезет нам новостей и

гостинцев; он так мило умеет рассказывать дворские анекдоты и так верно описывает моды, что по его словам можно кроить, как по мерке.

– Разве Михал Тимон, – возразила другая, – вот нам и первая пара в мазурку; это он – я очень хорошо знаю его осанку.

– Сердце – приметливый живописец, – лукаво заметил Войдзевич.

– Только пан судья плохой судья сердец, – отвечала красавица.

– Это ни тот, ни другой, – молвила третья, – это Вацлав Шадурский, – не худо, чтобы пан хорунжий прочел нам отходную, потому что он уморит со смеху, представляя короля и любимцев его Потоцких, когда они варят золотой суп.

– Панна Ружа может до случая спрятать наперсток, – сказал Лев Колонтай, – панну Сидалию приглашаю выбрать себе другого кавалера для мазурки, и панна Марила отложит до другого времени свою исповедь, как ни досадно это ее черноусому духовнику, – это какой-то незнакомец, милостивые государыни, – но во всяком случае новый поклонник ваших прелестей. Не так ли, пани Элеонора?

– Если он так же любезен, как статен, – отвечала пани Ласская, нежно прищуривая очи на Колонтая.

– О, конечно, пани Элеонора, наружность так обманчива, и глазам опасно доверяться.

– Очи – зеркало души, – говорят стихотворцы.

– Но и самая душа бывает зеркалом, которое все отражает и ничего не хранит.

– Мы знаем, откуда ветер навевает пану Льву нападки на нас. Ваша скромная русская красавица...

Приезд Зеленского прервал все разговоры; он очень ловко и твердо повторил заученную просьбу со всеми околичностями.

– Просим пожаловать, – ласково отвечал старик Колонтай, – моего порога искони не миновали проезжие, и я тем больше рад гостю, что он земляк и шляхтич. Проси пана Маевского не только на час – на месяц; дом мой к его услугам.

Между тем, покуда происходили объяснения и приглашения, князь стоял верхом у въезда и рассматривал гербы на каменной ограде, которые, подобно негодным травам, развевались повсюду. На самом своде ворот прибит был раскрашенный железный щит, и плющ в самом деле прибавлял к нему украшения, не внесенные в печать; зато домовитые ласточки залепили верх его гнездами, не заботясь, что эта вывеска тщеславия дороже хозяину драгоценнейших картин; но, странная вещь, предрассудок, воздвигнувший этот щит, оставил в покое ласточек по другому предрассудку – как будто в доказательство, что внушения природы побеждают заблуждения ума.

Я не ручаюсь, чтобы подобные мысли кружились в голове князя, – они принадлежали не его веку – и тем менее его положению. Его сердце билось – в каждой женщине ему мечталась Варвара. Что скажет он ей? Как встретит она его? Как откроется в своем намерении, не изменят ли ему нежданное восклицания встречи? У него потемнело в глазах, когда въехал он на широкий двор Колонтая. Оправясь, однако ж, от первого замешательства, он посередине спрыгнул с седла и развязно пошел к хозяину. Тот, видя учтивость приезжего, разгладил усы и морщины, и пошли обоюдные приветы. Поляки всегда были щедры на слова, и магнат хотел доказать, что двор для него не Новая Земля. В заключение он прибавил: «Я уверен, что пан Маевский, ступив после долгого плена на родную землю, найдет в моем доме

родственный прием. Вот жена моя, урожденная княжна Гедройц, и сын мой Лев Колонтай, ротмистр Язды Коронной. С дамами и с молодыми панами вы и сами скоро познакомитесь.»

Поцеловав почтительно руку у хозяйки и учтиво раскланявшись с сыном, он был задавлен расспросами от каждого и каждой из собрания. Он благодарил судьбу, что тут не было Варвары, ибо чувствовал, что в ее присутствии никак бы не мог так вольно рассказывать небылицы. Дух подражания, коим так щедро наделила или наказала природа русских, послужил ему тут чрезвычайно. Натершись польщицкою при дворе самозванца и находясь с ними в беспрестанных сношениях за переводчика во все время внутренней войны, он удачно ссылался на то, что знал, и извинялся пленом в том, чего не знал, приписывая долгой отвычке ошибки языка. С полчаса спустя полдень на дороге послышался топот коней, предшествуемый звуками бубна. Князь Серебряный подумал сперва, что за ним скачет отряд конницы: ничего не бывало. Пыль расступилась, и глазам его представилась тяжелая линейка, построенная едва ли не из обломков Ноева ковчега. Она влекома была, так сказать, воспоминанием шести тощих лошадей. Впереди скакал бубенщик, чтобы недостойная чернь сворачивала с дороги, а кругом шесть вершников в гусарской одежде.

– Милости просим, пан староста Креславский, милости просим, ясновельможная пани старостина, панны старостувны, – какой вас ветер занес – тысячу лет не видались, – вскричал старик Колонтай, обнимая по очереди это допотопное семейство, и, признаться, глядя на них, последнее приветствие его не могло быть сочтено за преувеличение. Когда выгрузили из линейки всех панны, всех мосек и все картонки, – громкое восклицание: «Обед на столе!» оживило собрание. Хозяин подвел мнимого Маевского к младшей, хотя вовсе не молодой, дочери старосты, подхватил руку ее матери, кряхтя от подагры, но зато лихо моргая усами, – и гости, меняясь приветствиями, потянулись в столовую.

Глава IV

Я формалист: люблю я очень

В фарфоре чай, вино в стекле;

В обеде русском – добрый сочень.

Roast-beef на английском столе.

Люблю в гостинной вести, фразы,

Люблю в гостинице проказы,

И даже ссоры в злые дни...

(Чего нас Боже сохрани!)

Если несколько польских магнатов могли блистать роскошью, как владетельные герцоги, зато три четверти остальных равнялись с ними одной спесью, далеко отставая средствами ее удовлетворить и выказать. Не говорю уже просто о дворянах, хотя каждый из них силился иметь около себя небольшой двор. Все это чванство, нисходя постепенно к бедности, делало только смешней их причуды и тем скорее довершало разорение. Колонтай, один из важнейших помещиков того края, конечно, был богат всем, что составляет первые надобности человека, но денежные доходы его были весьма ограничены. Немецкие купцы

посредством евреев покупали, правда, у него лес, рожь, пеньку, сало – но Двина была не очень близка, перевоз колесом в бездорожном краю затруднителен и сплав до Риги, от войны со шведами, неверен, а потому и цены на все чрезвычайно низки. Прибавьте к этому запутанность его дел, бессовестность экономов и арендаторов, беспорядок в управлении и в расходах, потому что в те времена, как у нас доселе, хозяйство считалось недостойною наукою для дворянина, – и вы не удивитесь удивлению князя Серебряного, который, минуя ряд покоев, не заметил в них ничего великолепного, что полагал найти по рассказам поляков. В двух только гостиных стены обиты были золототравчатым штофом, а креслы и стулья обтянуты рытым плисом, но все это было так блекло, что без ошибок его можно, казалось, назвать ровесником Ягеллонов.

В столовой зале по глухой стене тянулись предки Колонтаевы от мала до велика... но, благодаря пыли и копоти, они терялись в сумерках времен, и это обстоятельство, конечно, было не внаклад и портретам, и малярам, их писавшим. В конце залы стоял шкаф со стеклами, раскрашенный и украшенный, как часовня: в нем были помещены в узор серебряные блюда, фигурные кубки, чары, чарочки, кружечки и кружки – наследственная родословная крестин, именин, свадеб, мировых подарков и добыч. На столе же, так как день был не праздничный, – лежали только при оловянных тарелках серебряные ложки да кабачок и солонки; кружки и рюмки были синего стекла и разных видов и величин.

Гости, жужжа, обходили стол, будто крепость, назначенную к разграблению... Вся кровь зажглась в князе Серебряном, когда он увидел выходящую из противоположных дверей Варвару; она опиралась на руку Льва Колонтая и была в польском или, лучше сказать, в венгерском платье. Две косы, перевитые жемчужного ниткою, два раза окружали ее голову. Белый газетовый долман, опушенный соболями, охватывал стройный стан, и голубая атласная исподница с золотою бахромою струилась и шумела в широких складках; стройная ножка заключена была в красный сафьянный черевич. На один миг устремила она прекрасные голубые очи свои на незнакомца; румянец как зарница вспыхнул на лице красавицы – и снова потух он, и снова обратились взоры ее к Колонтаю, как будто обманутые. Князь был уязвлен такою холодностию – он лучше желал, чтоб она подвела его под саблю своею радостию, чем быть безопасным ценой равнодушия.

Сельский каноник прочел «Oculis omnium» [1], благословил яства, и все стали садиться. Колонтай, несмотря на то что дамы поместились на одном конце стола, как хозяин, выгадал себе место рядом с Варварою, и бедный князь, сидя на одной стороне с нею, только вкось, и то изредка, мог наслаждаться видом ее носика, перепрыгивая взорами то через толстое брюхо пана Зембины, то через тенистые усы пана Пузины, то через бритую голову пана Радуловича.

– Васан, конечно, русак по вере, – спросил пан староста Креславский, обращая слово к князю, – сдается, пан крестился на правое плечо?

– Крещусь на правое, а рубаю и с правого и с левого! – гордо отвечал Серебряный, негодуя за нескромный вопрос и неучливое выражение «васан», которое почти равняется нашему «сударь».

– Что хорошо, то хорошо, – со смехом вскричал хозяин, которому понравилась эта выходка. – Пускай отцы иезуиты разбирают, латынью или славянщиною отпираются лучше райские двери, пускай они проклинают наших кальвинистов и за чуб тащат козаков в унию: по-нашему тот и свят, кто лучше рубится за отчизну. Не правда ли, пан судья?

– Моя хата с краю, ничего не знаю, – отвечал Войдзевич, отшучиваясь, чтобы не навлечь на себя неудовольствие старосты.

– У палестраитов, как на испорченных часах, не узнаешь правды, – сказал хорунжий Солтык,

– одно бьют, а другое показывают.

– По крайней мере, – возразил Войдзевич, скрывая свой гнев, – моя стрелка туда и бьет, куда указывает... Разумеешь, пан хорунжий?

– Разумею, только...

– Сомневаешься?

– Нет, просто не верю!

– Дерзкий мальчик: *satis eloquentiae, sapientiae parum* [2], – произнес он по-латыни, чтобы устранить дам от ссоры. – Знаешь ли, чем платят за подобные речи?

– Не все братья, надо когда-нибудь и поплатиться, пан судья.

– Прошу слово гонору, пан хорунжий!

– Я не отдаю чести тем, которые не стоят ее!

– Не даешь, потому что не из чего!

Бог знает чем бы кончилась ссора, подстрекаемая присутствием общества, и в особенности дам. Такие сшибки были весьма обыкновенны в Польше, где каждый молодой человек, не заботясь о справедливости, жаждал выказать свою храбрость, не ходя далеко. Хозяин, однако ж, поспешил удержать запальчивость противников.

– Тише, господа, прошу вас, тише! Отложите на час ваши сделки – сад велик и вечер долог: успеете еще нарубиться досыта. За обедом дело не о крови, о вине, оно *causa nostrae laetitiae*, источник нашей радости.

– И начало великого зла, – подхватил каноник, – где льется вино, там и кровь брызжет нередко.

– Не хочет ли преподобный отец доказать, что вино пьяно? – спросил шутя Лев Колонтай.

– Не хочет ли пан ротмистр доказать, что нет? – возразил каноник.

– Не только хочу, но и могу: я утверждаю, что пьяно отнюдь не вино, а время!

– Как время? Каким образом время? Это любопытно, это очень любопытно! – вскричали многие голоса.

– Вы смеетесь немножко рано, господа, – я вам расскажу как. Возьмите вы бочку венгерского и распейте ее в два года, всякий день по две рюмки, не более. Ведь вы не будете с этого пьяны?

– Разумеется, нет, – отвечал пан Зембина, предполагая, что в Польше найдется решительный человек для такого постного опыта.

– Но выпейте же вы две бутылки в полчаса – вы, без сомнения, опьянеете. Следственно, одно время придает вину хмеля!

– *Se non X vero – ben trovato* [3], – примолвил Солтык, небрежно крутя свои усы. Итальянский язык был тогда в моде между знатью, и ему хотелось выказать знанье дворянских обычаев.

– *Experto credite* [4], – возразил Колонтай, – даже глядя долго на иные глаза, можно прийти в упоение!]

– Bravo, bravo, сынок! – вскричал хозяин, хохоча во все горло, – да я и не подозревал за тобой такой прыти. Своими нестрогими проповедями ты, пожалуй, отобьешь место у патера Голынского!

– Я немного честолюбивее, батюшка: мечу в дамские духовники и желал бы начать эту обязанность с панны Барбары!

– Пан Маевский! – возгласил хозяин, – прошу отведать с этого блюда, да вашмосц ничего не кушает, поглядывая на землячек, – надоедят, приятель, скоро надоедят, и как ни уверен сын, что время пьяно, а хоть час гляди на прекрасные глазки, все надо прибавить кубок-другой, чтобы прийти в упоение. Право, не худо бы пану взять, как следует кушать родовитому шляхтичу, у пана Зембины – за живым зайцем он не мастер гоняться, зато жареный от него не уйдет!

– Особенно, когда он подстрелен паном Станиславом, – отвечал весельчак Зембина, указывая на полную тарелку хозяина, – на одной ноге недалеко ускачешь.

– Ха, ха, ха! Пани старостина, прошу не отказываться: лозанки-то хоть куда! Ясновельможный, или мое мартовское с гренками не нравится?

– Настоящее стариковское молоко: как весна, сердце греет.

– За чем же дело стало – неужто помолодеть неохота? Ах, молодость наша, молодость, пан староста, вспомни-ка пирушки в Кракове.

– То-то было времечко, не нынешнему чета!

– Куда нынешнее!! Теперь не только сердце, да и солнце польское остыло. Гей, венгерского, старого венгерского, чтобы Стефана Батория помнило! (Наливает в большой серебряный кубок.) Да обновится старожитная Польша! От пана до пана! (Передает кубок старосте.)

– Да живет новая по-старинному! (Передает соседу.)

– Да цветет польская слава!

– Да вечно зеленеет свобода шляхетская!

Кубок шел кругом, и каждый возглашал за здравие, какое внушало ему чувство, ум или память. Другой круг посвящен был именным за здравиям, и, разумеется, присутствующие красавицы не были забыты. Приветы, один другого затейливее, нередко один другого нелепее, дождались. Когда дошла очередь до Льва Колонтая – он наклонился, схватил с ножки Варвары черевик, несмотря на ее крик и сопротивление, налил в него вина – и, подняв, произнес:

– Мое первое счастье сражаться за свободу отечества, а второе – терять свою собственную в плену прекрасных!.. Предлагаю здоровье русской розы – панны Барбары!

Долгое «браво» раздалось со стороны мужчин.

– От пана до пана черевик красавицы! – восклицали они, хлопая в ладоши, – мы в войне только с русской силой, а не с русской красотой!

Сафьянный башмачок летел из рук в руки, дамы кусали губы и перешептывались, а застенчивая Варвара раскланивалась, не подымая глаз и пылая, как роза. Казалось, она просила пощады, а не торжества.

– Нельзя ли прибавить к этому: здоровье пана ротмистра? – спросил хорунжий Солтык полушутя.

– Это зависит не от меня, – отвечал тот строго, но со вздохом, поцеловав руку у девушки. Варвара не знала, куда деваться; две крупные слезы дрожали на ее ресницах, высоко вздымалась полная грудь. Я бы сказал, что она была еще прелестнее обыкновенного, если бы это было возможно.

Не трудно угадать, в каком волнении находился тогда князь Серебряный – иглы текли у него по жилам, ревность душила сердце. Он говорил не думая, отвечал не внимая; ему казалось, он глотал пламя в вине, предлагаемом соперником; со всем тем он жадно прильнул устами к башмачку той, которую любил. Едва владея собою, он спросил у хорунжего:

– Разве есть что-нибудь положенное между молодым Колонтаем и пленницею?

– Наверно не знаю, – отвечал тот, – но, кажется, свадьбы не миновать. Старик любит сына до безумия, и что он захочет – то свято. Конечно, за ней нельзя ждать приданого, но она из старинных дворян русских, а главное, что Лев в нее врезался по уши, только ею и бредит во сне и наяву.

– Любят ли его взаимно? – сказал князь, едва переводя дыхание, между тем быстрые краски изменяли его лицо.

– Прошу извинить, пан Яромир, – голова у нее не хрустальная, пан Маевский, и я не мог видеть ее мыслей. Впрочем, Лев молод, знатен, богат и – что должно бы поставить в заглавие – хорош собою. Какое женское сердце не увлечется четверкою таких достоинств? Кроме этого, она обязана ему благодарностию: благодаря Льву она живет здесь не хуже принца Максимилиана в плену у Замойского в Красном Ставе. Если бы не он, не таково бы было ей житье и от самого старика, который ненавидит русских за то, что они были храбры, и от наших дам, которые не прощают красоты.

Эти вести заставили князя повесить голову. Между тем беседа становилась шумнее и шумнее: молодые паны покинули свои места и, опершись на спинку стула, вполголоса говорили любезности своим дамам. Старики толковали о политике.

– А что, пан Маевский, жалеют ли русские нашего королевича: ведь они сами звали его на престол? – спросил староста у князя Серебряного, покашливая.

– Иногда люди желают неизвестного, но жалеть неизвестного невозможно, – отвечал князь скромно.

– А кто виноват, что они отказались от польской династии? Сам король наш. Когда бы не позавидовал сыну, так русская корона не ушла бы у него в лес, как заяц, – сказал хозяин.

– Сомневаюсь, чтобы русские потерпели над собой иноплеменного царя: татарское владычество увековечило в них ненависть ко всему, что не русское. Владислава звали только несколько честолюбцев.

– Просты же остальные бояре, право, просты: неужели не смыслят они, что чужеземного царя легче держать нашему брату в лапках?

– Московский царь властвует не для одних магнатов, а для всего народа; а народ хочет видеть в царе отца, и кровного, а не наемника чужеземца. Теперь всей землею они выбрали себе достойного государя.

– И мы, кажется, выбираем королей не при свечах. Не так ли, пан староста? Однако пусть лукавый утопит в бочке венгерского мою душу, если Жигмунт не рвет наши Pacta conventa на

завивку шведских своих усов. Но дай только дождаться первого сейма – у меня найдется свой Зебржидовский – он грянет «непозволям», как вестовая пушка.

– Вспоминают ли москали наших удальцов? – спросил Солтык.

Лицо князя вспыхнуло гневом, но он укротил это движение.

– Поступки полков, бывших с Тушинским самозванцем, и наездники Лисовского были причиной сильной ненависти к нам, – отвечал он, потупив очи.

– Какое нам дело, любят ли нас рыбы, когда мы их едим, – возразил старик Колонтай. – Ай, спасибо Лисовскому!

– Кстати о нем, – прибавил староста, – Лисовскому велено опять собираться на Москву, и он прислал сюда Мациевского вербовать охотников, разумеется, таких удальцов, у которых *peque res, peque spes bonum* (ни добра, ни надежды). Завтра он будет в Режицу.

– Мациевский! – воскликнул князь невольно, вспомня, что они хорошо знакомы друг другу и в доме, и в поле.

– Он должен быть приятель панский, – сказал Лев Колонтай. – Вы оба служили под знаменем Жолкевского?

Князь отвечал склонением головы; он молчал, но зато сердце его говорило тем громче. «Безумец, безумец! – думал он, – не для того ли, чтобы побывать на свадьбе у врага и соперника, жертвуешь ты жизнью? Не ожидаешь ли ты любви от девушки, которая не дарит тебя даже воспоминанием? Беги, не ожидая новых унижений и новых бед!»

Обед кончился, и женщины, подстрекаемые любопытством, окружили мнимого выходца из плена, а может быть, желали заманить в новый. Чтобы отплатить Варваре тою же монетою, он показывал, будто и не замечает ее. «Не ищи, и в тебе искать будут!» Правило очень верное, но только для особ, одаренных щедро от природы умом или красотой, – и, конечно, князь мог назваться одним из ее баловней. Польки очень были довольны его отрывистыми ответами, его дикою живостью. Кто понравится им, у того и самые недостатки им кажутся милыми, самые ошибки – остроумными. Впрочем, он довольно дорого платил за расположение к нему дам: они засыпали его расспросами, предложениями и приглашениями.

– Вы, верно, пан Маевский, – сказала одна черноглазая дама, – выучились петь по-русски – спойте нам что-нибудь, у вас такой прекрасный голос: это должно быть очень любопытно...

– Чему быть хорошему на холопском языке? – важно произнес пан староста, для которого язык его крестьян значил не более как мычанье быков.

– На Руси почти то же говорят о польском языке, – возразил князь, – хотя я ссылаюсь на моих прекрасных соотечественниц: он так мило звучит в слове «кохам», что его нельзя выговорить, не вздохнувши! Я уверен, однако же, что и перевод этого слова: «люблю тебя» – в устах русской красавицы для меня показался бы не менее сладостен и благозвучен.

Он с жаром произнес последние слова, устремив в припадке нежности очи свои на Варвару, которая одна не приближалась к нему, одна не заводила с ним речи. Казалось, она вздрогнула, услышав слова родные, румянец разлился по челу, уста раскрылись, как будто для ответа, – она подняла длинные ресницы свои – и снова опустила их молча. Князь был вне себя от досады. Несмотря на это, он нехотя должен был взять многострунную цитру, инструмент, уже знакомый ему по Москве, и так как он хорошо играл на гусях, то в несколько переборов применился к ладам ее. Лев Колонтай взялся вторить ему на флейте, и после звучного аккорда князь Серебряный запел:

Что не ласточка, не касаточка

Вкруг тепла гнезда увивается,

– и проч.

– Очень мило, прекрасно! – Громкие рукоплескания раздались кругом – но ему лестно было одобрение только одной особы – и этой особы уж не было в комнате.

Глава V

За слово, за надменный взгляд

Рубиться он готов и рад;

О прежней дружбе нет поминок —

И вот на званый поединок

Сошлись: товарищи кругом,

Поклоны – и мечи крестом.

– На два слова, пан Маевский, – сказал на ухо князю хорунжий Солтык и дал ему знак за собою следовать.

Когда оба они вышли на крыльцо, Солтык взял его под руку и быстрыми шагами почти повлек изумленного гостя в сад. В безмолвии пробежали они длинные дорожки, осененные дедовскими липами и кленами, на которых несколько поколений ворон невозмутимо пользовались тенью и приютом. Когда они были уже в таком отдалении, что не могли быть видимы из замка, хорунжий остановился.

– Прошу извинить, – сказал он князю, который с нетерпением ожидал объяснения. – Я беспокою пана из безделицы, но она необходима. Вот в чем дело: я давно уж грызу зубы на Войдзевича за то, что он отсудил при разделе имения моего дяди лучшую долю дальнему родственнику и, что хуже всего, отбивает у меня ласки пани Ласской. Сегодня за обедом дошло до расчета – и теперь мне надобен товарищ. Надеюсь, что, как родовитый шляхтич и храбрый воин, пан Маевский удостоит променять за меня пару-другую сабельных ударов. Я бы мог просить Колонтая, да совестно отрывать его от коханки, а кроме него нас только двое здесь из коронной службы; итак, могу ли?..

– Я готов охотно служить рукой и волей пану хорунжему и очень благодарен за доверенность, – отвечал князь, который воображал услышать гораздо грознейшие вести. – Не нужно ли пригласить сюда пана судью?

– О нет, напрасная забота, пан Маевский, мои речи заставили его эту обязанность взять на себя. Он сейчас будет сам и с товарищем, и у меня страх чешется рука напечатать на лбу этого ходячего литовского артикула имя свое красными буквами. Да вот они.

Противники приближались. Войдзевич выбрал товарищем толстяка Зембину, и все, свернув с дорожки вправо, пошли чащею. Впереди двое врагов по чувствам, сзади двое по случаю.

– Очень рад утвердить новое знакомство дракою, – сказал Зембина, подавая князю руку, – но, между нами будь сказано, – прибавил он тише, – из-за чего нам рубить друг друга без милосердия? Пан в первый раз видит Солтыка, а я не заплакал бы по Войдзевичу, увидясь и в последний. Впрочем, так как у нас никто не отказывается ни от обеда, ни от поединка, обычай непременно требует от нас бою и крови, пусть так, – по крайней мере, от нас зависит порасчетливее отвешивать удары, чтобы рана не помешала аппетиту, потеря которого, признаться сказать, мне важнее всех судей на свете.

Откровенность Зембины очень понравилась князю.

– От души согласен на предложение, – отвечал он смеючись, – я не имею против пана Зембины никакой личности и очень рад хоть каплей ума смягчить безрассудный обычай.

Небольшая тенистая поляна, заслоненная густыми деревьями, была, как нарочно, устроена для свиданий любви и чести или, по крайней мере, для того, что величают этими громкими именами. Товарищи указали противникам место и рядом с ними сами обнажили сабли. По слову: «раз, два, три!» – каждый из них, топнув ногою, ступил шаг вперед, и, сделав поклон шапками и оружием, скрестили сабли. На них можно было любоваться: гордо, ловко стали они в позицию, заложа левые руки за спину и стройной стопой поражая землю, чтобы обмануть неприятеля, и между тем не сводя очей друг с друга и чуть зыбля рукоятками, готовя неожиданный удар. И вот, как луч, сверкнул он – но везде клинок встречает клинок, всё злая усмешка не слетает с обоих лиц, всё звуки нетерпения вырываются сквозь зубы, стиснутые гневом.

– Начнем, – сказал Зембина, закидывая за плечи рукава контуша. Сделав несколько выпадов, брякнув несколько раз саблями, случаем или умыслом, – только клинок Серебряного скользнул по сабле Зембины и рассек ему немного руку ниже локтя.

– *Consumato est!* (совершилось!) – произнес он с комической важностию. – Много одолжен, пан Маевский: злот, который бы мне заплатить за кровопускание, теперь в кармане. Пускай платок пропитается, – прибавил он князю, который заботливо перевязывал его рану, – это завидный цветок для нашего брата героя, – я уверен, что к нему слетятся все наши паненки, как бабочки.

Как ни хвалился хорунжий удальством, но судья был если не искуснее, то гораздо хладнокровнее его в шпажном деле и так умел раздражить противника, что он забыл закрываться, думая только о нападении. Выманив неосторожный удар, судья одним движением руки отразил его и рубнул в открытое плечо Солтыка: сабля раненого выпала из обессилевшей руки; он зашатался.

– Упадаю к ногам панским, – сказал Войдзевич, раскланиваясь с самодовольной улыбкою.

– Лежу у ваших, – отвечал насмешливо Солтык, у которого никакое положение не могло отнять ни веселости, ни охоты играть словами, как опасностями.

– Однако моя сабля так иззубрена, – примолвил судья, – что в следующий раз мне придется пилить своего противника. Благодарю за честь, господа.

Войдзевич удалился, хладнокровно крутя усы и напевая:

Польша богата всяким добром,

Польша славна и мечом, и пером!

– Несносный хвастун! – сказал Солтык, кряхтя от перевязки.

– В этот раз ему есть чем хвалиться, проуча такого лихого рубаку, каков Солтык, – возразил Зембина. – Не только он сам, да и клинок его вырастет теперь двумя вершками.

– Не его уменье, а моя ошибка тому виною.

– Да что ж такое уменье, когда не мастерство пользоваться чужими ошибками? Как ни говори, а придется пану хорунжему сидеть в углу, не танцуя даже польского, целую неделю.

– Да и ты, кажется, с обновкой, пан Зембина?

– Безделица, сущая безделица, не больше крови, как на подписку имени, когда я вздумаю заложить душу свою за бочку венгерского.

Хорунжий, встретя своих людей, отблагодарил товарищей за участие и отправился, поддерживаем ими, в свою комнату для леченья и покоя.

Князь Серебряный был очень рад, что его на время оставили с самим собою: его утомило множество нежданных чувств и происшествий в течение одного дня. Сомнение, безнадежность, ревность и надежда попеременно волновали его душу – но, видя опасность, висящую над головою, он будто потерял волю избежать ее удалением. Так в страшном сне мы видим порой, будто лютый зверь гонится за нами, – и не можем оторвать ног от земли; будто незримая сила влечет нас к пропасти, сердце замирает – и нет сил остановиться!

Не зная куда и зачем, шел Серебряный по берегу небольшого озера, к которому примыкал сад. Едва протоптанная стезя завела его на длинный мыс, далеко вдающийся в озеро. Плакучие березы клонили зыбкие своды до самых корней своих, и лучи солнца, просеиваясь через сеть зелени, рассыпались блестками по влаге. Мирно лежало озеро в берегах своих – посреди его недвижно плыл лебедь, будто созерцая небосклон, отраженный водами, – подобие чистой души над безмятежным морем дум, в коих светлеет далекое небо истины.

В каком бы состоянии ни был человек, в какой бы век он ни жил, но больше или менее, только всегда природа имеет на него влияние или посредством тела на дух или чрез ум на чувства. Нахмурен, стиснув руки на груди, глядел князь на природу окрестную, и тишина и светлость ее понемногу проникали до его сердца: оно, как ночной цветок, развернулось росе утешения, но утешения, смешанного с горечью. Никогда сильнее не чувствуешь одиночества, как взирая на прелесть творения; так бы хотелось, прижав к груди милую, сказать: «Посмотри, как это прекрасно!» – или, склонясь на плечо ее, безмолвно любоваться ее наслаждением! Но когда нет раздела – то чувство, которое могло бы стать счастьем, превращается в глубокую грусть.

«Где ты, милая?» – думал князь Серебряный со вздохом... Он поднял очи, и что ж? В десяти шагах от него, под мрачную елью, на дерновой скамье сидела Варвара. В глубокой думе была красавица; в отуманенных печалью глазах ее сверкали слезы: она походила на лилию, спрыснутую вешней росой. Сомнение, досада, грусть – все исчезло для князя; тонкое пламя проникло его существо – он видел только ее, только она существовала для него в целом мире...

– Варинька! милая Варинька! – вскричал он.

Она вздрогнула, вскочила – несколько мгновений стояла в нерешимости изумления – и с радостным восклицанием: «Ты ль это, князь Степан?» – рыдая, упала к нему на грудь.

Серебряному казалось, что все это происходило во сне. Милую ли прижимал он к сердцу, которую считал для себя погибшею? Ему ли растворились вновь двери надежды и радости? Варвара пришла в себя, вырвалась из объятий юноши, но чело ее не пылало румянцем – на нем сияло одно безмятежное удовольствие. Она села рядом с князем и долго, долго смотрела на него.

– Князь, – произнесла она, – я встретила тебя не только как одноземца, но как родственника, как брата! Вот уже более двух лет, как я похищена из отчизны, лишилась матери, забыта родными, не видя русского лица, не слыша голоса родимого. Князь Степан, я одного тебя знала хорошо в Москве – ты любил водить речь с неопытною девушкою – и я часто вспоминала тебя на чужбине; но если б и чужой, и вовсе незнакомый, только русский повстречался мне, я бы рада была ему, как родному. Я с первого взгляда узнала тебя – но, видя эту одежду, слыша ложное имя, я страшилась малейшим движением изменить одноземцу; но когда ты запел русскую песню, – примолвила Варвара с умилением, – сердце во мне закатилось – я убежала поплакать сюда по своей девической воле, по родине Святой Руси! Мое младенчество, мои прежние радости и печали, все, все обновилось в памяти – но когда ты назвал меня семейным именем, мне казалось, что голос матери зовет меня, что я опять дома и в отечестве.

– Я пришел с тем, чтоб возвратить тебе отечество, – сказал до слез тронутый князь.

– Сладок русской душе голос и разум речей твоих – они обещают свободу, – но, ради Бога, будь осторожнее, скрытнее: Лев Колонтай подозрителен – он силен и грозен!

– Хотя бы он и в самом деле был лев, я и тогда похитил бы тебя из когтей его. Но теперь время не слов, а дела: решилась ли бежать отсель этой ночью?

– В эту ночь весь дом будет на ногах, готовятся к завтрашнему дню рождения хозяйки... отложим все до завтра – замешательство и хмель праздничный лучше скроют приготовления к побегу.

– Варвара Михайловна, располагай мною, как Бог внушил тебе, но мне кажется, что замедленье умножит опасности, хотя и удалит некоторые препятствия. Назначенный стрелецким головою в Опочку, я считал тебя пленницею Жеготы и прошлой ночью сделал набег на село панцерных дворян, разграбил его – и, обманутый в своей надежде, решился добраться сюда, чтобы хоть головою своей выручить тебя из плену.

– Ты сделал набег! О князь, князь, у меня нет слов выразить благодарность – и страх за тебя... Колонтай ненавидит русских, Польша в войне с Москвою – и ты, наездник, здесь, посреди врагов – о беги, беги, куда есть время...

– Мне бежать? Мне покинуть тебя? Скорее дом Колонтая двинется ко Пскову, чем я один отсюда. Для того ли я нашел тебя, чтобы потерять вдвойне?

– Но тебя могут узнать, открыть, прежде чем мы найдем случай к общему бегству... ты, не спасши меня, прибавишь мне раскаяние к печали, что я была виной твоей гибели, – удались, оставь меня моей горькой участи!

Сомнения князя обновились.

– Варвара Михайловна! – сказал он мрачно, – я не понимаю тебя. Одно средство представит тебе увидеть родину – это моя помощь; и ты хочешь удалить ее?

– Я не хочу быть на воле ценою крови твоей.

– Скажи лучше, тебе мило пленничество.

– Князь, князь! ты бы не произнес этого, если б знал, каково птичке и в золотой клетке и как много песку в хлебе чужеземца! Бог видит, превратилось ли во мне сердце русское!

– Варвара Михайловна! позволь мне один вопрос: любишь ли ты Льва Колонтая?

Варвара потупила очи – и молчала; но румянец, проступивший даже на высокой шее, доказывал, что кровь ее волновалась.

Князь Серебряный повторил вопрос свой.

– Он стоит любви, – отвечала она твердо и спокойно, – только его великодушию обязана я минутами покоя и радости в враждебной земле этой.

Страшно пылало лицо князя.

– Прямо и беззаветно прошу сказать: любишь ли ты Льва Колонтая? – произнес он.

– В эти минуты говорить о любви, князь... – отвечала Варвара, слыша, что многие голоса призывали ее по саду, – если не удастся поговорить о деле сегодня – то завтра ты узнаешь все: и мое решенье, и мое сердце... Да покроет тебя ангел-хранитель для моего спасения!

Она мелькнула как тень и скрылась от изумленных взоров князя Степана.

Он не знал, что и думать о загадочных словах Варвары, – то они казались ему выражением девической робости и стыдливости, то признанием в склонности к сопернику. Самолюбие стояло за первое, ревность утверждала второе. Во всяком случае он был влюбленнее, чем когда-нибудь, и Варвара казалась ему тем прелестнее; но как ни старался он приблизиться к ней наедине – искания его оставались безуспешны. В весь вечер он только среди толпы других гостей мог говорить с нею, и лишь изредка украдкой брошенный взгляд участия награждал его за скуку казаться веселым.

Когда после ужина в отведенной ему комнате он увиделся с Зеленским, опасения его умножены были рассказом сего последнего, что в корчме, куда приглашал он новых своих знакомцев, покоевцев Колонтая, встретился он с каким-то забиякою шляхтичем, который дерзнул утверждать, что в Остроге, в городе, названном отчизною князя, никогда не бывало Маевских. Правду сказать, что он был очень пьян – и слова его мало давали веры, но он может протрезвиться и распусть такие вести далее. Кроме того, пан Зеленский заметил, что Колонтай говорил что-то на ухо своему конюшему и тот не спускал глаз с князя; что несколько человек бродили всегда кругом его, когда он прогуливался в саду; наконец, опасливый стремянный дал заметить боярину, что узкое окно его спальни было с решеткою, а дверь дубовая с пробоями.

– Итак, ты думаешь, что мы открыты? – сказал князь, улыбаясь.

– По крайней мере, подозреваемы, – отвечал стремянный. – Я задам коням овса, – примолвил он будто мимоходом.

– Пусть едят на здоровье: в эту ночь мы не потревожим их, я чуть держусь на ногах от бессонницы, и тот, кто нарушит покой мой, – дорого заплатит за дерзость.

Говоря это, он поместил свои пистолеты на стуле, положил обнаженную саблю под подушку и, только сняв верхнее платье, кинулся в постель. Зеленский был осторожнее: он притащил к дверям длинный стол и растянулся на нем в плаще своем, чтобы при малейшем стуке быть готову на отражение. Со всем тем страх долго мешал ему закрыть глаза, и князь Серебряный давно уже спал крепким сном, когда оруженосец его ворочался еще с боку на бок.

Их вера – в колокольном звоне,

Их образованность – в поклоне. С польского

Ненастно было утро, и утомленный князь проспал бы долее обыкновенного под однозвучный ропот дождя, если б Зеленский не разбудил его извещением, что пора идти к завтраку, напоминая притом, чтобы он приготовил приветствие хозяйке на день ее рождения. Князь встрепенулся, освежил себя водою, расчесал кудри на буйной головушке, нарядился молодцем и по пословице «утро вечера мудренее» гораздо покойнее рассуждал о том, что случилось, и смелее пошел навстречу тому, что могло случиться. Все гости собрались уже поздравить пани Колонтаеву и шумели вокруг нее, как пчелы около запертого улья. В широких фижмах, в высоком кружевном чепце она жеманно поворачивалась на деревянных каблучках, отвечая на все желания и приветствия, которые имеют удивительное свойство никогда не изнашиваться и приходиться ко всякому лицу. Отдав пошлину хозяйке и раскланиваясь дамам, князь заметил, что на лице Варвары разлита была какая-то бледная томность, и она отвечала на взор столь нежно-укорительным взором, что он тысячу раз укорил себя за вчерашнюю подозрительность.

Старик Колонтай любил шутить и любил, чтобы смеялись, когда он намеревался смешить. Разумеется, зная его слабость, догадливые хохотали прежде, нежели он успевал отворить рот.

– Поздравляю дам с ненастной погодой, – сказал он, – грибы в лесу и лестные приветия в гостиных от дождя высыпаются; теперь молодежь прильнет к вам как тень на целый день!

– И не мудрено, – возразил Солтык, – прекрасный пол наше солнце.

– Много чести, – сказала пани Лаская, – и еще больше заботы; довольно с нас быть скромными цветами, которых живит и красит солнце, нежели самым солнцем, на которое ропщут нередко и за то даже, что от него загорают.

– Я бы готов стать арабом, лишь бы приблизиться к пылкому светилу, – сказал Войдзевич, поглядывая на даму, подле которой сидел он. Ласковая улыбка была ответом на приветствие.

– Для мотылька довольно и свечи, чтоб ожечься, – возразила пани Лаская, лукаво посматривая на эту чету и желая, что называется, одним камнем убить двух воробьев.

– О, конечно, для мотылька довольно и свечи, – воскликнул князь Серебряный, устремля пылкий взор на Варвару, – зато орел бесстрашно глядит на лучезарное светило.

– Берегите свои восковые крылышки, чтобы они не растаяли в чужом небе, – сказал Лев Колонтай сердито.

– Что значит «в чужом небе», пан Колонтай? – гордо спросил князь, – в любви и в воздухе нет границ.

– В любви, в любви?... это дело другое, пан Маевский, я не знал, что вы зашли так далеко, – насмешливо возразил Лев.

– Полноте вам летать и трещать по ветру, как бумажные змеи, – сказал старик Колонтай,

взявши за руки обоих противников. – Господа, прошу завтракать – натошак не споро и Богу молиться, а уже повозки у крыльца, чтоб ехать до костела.

Гораздо легче сказать, чего не было, нежели то, что было за старинным завтраком польским, – и потому, не желая растревлять охоты к еде в тех, которые еще не кушали, и не желая скучать тем, которые уже сыты, я умолчу о том. Вилки уже перестали звенеть по тарелкам, рюмки смирно стояли на столе и языки опять сменили зубы, – когда вбежал покоевец в комнату сказать на ухо старому Колонтаю, что пан Жегота просит позволения видеть его.

– Прах побери этого Жеготу, у него вовсе не праздничное лицо, – ворчал хозяин, – ну, что ж стал? Кликни его сюда. Ведь мне не встречать его на крыльце; верно, с поздравленьем подъехал, старая лиса.

Лев потихоньку заметил отцу, что Жегота не стоит чести быть принятым в хорошем обществе.

– Сам я терпеть не могу этого подорожного разбойника, да человек-то нужный. Он стережет мои деревни от русских наездов и порой посущается деньгами – хоть и за адские проценты. Да ведь мне не с ним детей крестить, плеснул ему рюмку водки, да и подалее от нас; теперь ведь не на сейм собираемся. Здорово, пан вахмистр, – сказал он входящему Жеготе. – Как живешь, можешь?

Жегота был старик высокого роста, широк плечом и зверовиден на лицо. Под орлиным носом подвешены были два огромных уса; серые очи сверкали из-под густых бровей – все черты и приемы выражали дерзость и жестокость, худо скрытые под униженными поклонами и лживыми словами. Изношенный синий кафтан его вовсе был создан не для посещений, но за поясом заткнут был пистолет, оправленный в серебро, и широкая сабля качалась на боку. Он с ног до головы обрызган был грязью. Чудная его фигура обратила на себя общее внимание.

– Ну, что скажешь, пан Сорвиголова? – спросил хозяин, когда тот обнял его колено.

– Я едва унес свою на плечах, ясновельможный, – отвечал смиренно Жегота. – Русские наехали на наше селение в позапрошлую ночь, разграбили, выжгли, угнали скот, перестреляли многих панцерников. Панская деревня Тримостье, что на дороге, – хоть шаром покати.

– Русские осмелились сделать наезд? разграбить мою деревню? Это неслыханная наглость, за это надо их проучить, за это надо втрое им выместить. Да что же ты делал сам, пан Жегота, чего глядели твои панцерники? Разве даром держит вас король на границе? Разве затем даны вам преимущества шляхетские, чтобы вы провозили запрещенные товары да шильничали по большим дорогам? Я уверен, что русские в погоню за тобой ворвались в наши границы, а твои удалцы – до старого леса, привыкши воевать больше с карманами, чем с ладунками!

– Прошу извинить, ясновельможный; я, правда, был на полеванье, только в другом краю, за Великою. В Опочку приехал новый стрелецкий голова, князь Серебряный, – и ему-то вздумалось показать свое молодечество. Я догнал их уже близ переправы, но после небольшой перестрелки ничего не мог отбить. Приезжаю домой – одни головни курятся, сундуки разбились, старший сын тяжело ранен. С обеда я поскакал сюда просить у пана защиты и помощи и вчерась бы вечером был здесь, да на дороге конь пал, и я верст пятнадцать тащился ночью пешком.

– Это срам, это позор имени польскому, я не стерплю этого!

– Не дай в обиду нас, бедняков, пан Колонтай; если спустит им магнат, так они будут у шляхты хозяйничать, как в своем кармане. Смилуйся, ясновельможный!

– Пусть меня убьет не бомба, а пивная бутылка, лопнувши, если я с русских не возьму за каждую баранью шкуру по коже. Я с ними разочтусь, разведаюсь!

Многие шляхтичи кричали: «На Русь, на Русь!»

– Я кровью смою след их с земли польской. Пан Жегота, назначаю пятьдесят рейтаров с моим ротмистром, чтобы вместе с панцерниками ударить под Опочку. Понимаешь?

– Где я пройду лисой, там со страху три года курицы не несутся, а где волком проскачу, там долго и трава не будет расти. Положись на меня, ясновельможный: будет где погреть руки и выкрасить контуши!

– То-то, Жегота, не положи охулки на руку. Сегодня ввечеру выступят мои, чтобы соединиться с твоими под Люценом, – последние приказы получишь с паном Горжельским.

– Лихо грянем! – сказал Жегота, потирая руки со злобною радостью, – не привести ли вельможному москаленка для потехи?

– Ни медвежонка; мне и русский дух надоел. На тебя уж давно грызутся судьи воеводы, Жегота; смотри – если успеешь за Великой – я тебе стена; а нет – так нет, и на глаза не кажись.

– Либо пан, либо пропал! – отвечал атаман, раскланиваясь.

– Впрочем, господа, – сказал, успокоясь, хозяин, – эта вздорная сделка не помешает нам ввечеру потанцевать, а теперь съездить в церковь. Молодежь – охотники – могут отправиться ночью и догнать отряд на дороге. Просим, просим.

Тяжелые кареты, линейки и брички потянулись к костелу через грязное местечко, полунаселенное жидами, дворней и немногими ремесленниками. Неопрятные домишки, казалось, кланялись прохожим или ожидали первого ветра, чтобы повалиться. Маленькие окошки, очень похожие на глаза с бельмами, заклеены были бумагою или тряпками. Почти нагие жиденята выползли дивиться на поезд, и оборванные жида снимали не только шляпы, но даже ермолки свои, низменно кланяясь панству, которое не устаивало их даже взором. У самой церкви колеса брички, в которой сидели князь и Солтык, совсем утонули в луже.

– Неужели здесь всегда столько воды? – спросил первый из них.

– Сохрани Бог, – отвечал Солтык. – Весной и осенью здесь гораздо менее воды, но зато втрое более грязи.

– Прекрасное утешение! И этот шинок противу самых дверей церковных – не очень благонравное сочетание: в нем уже звонят стаканами, прежде чем брякнуло кадило.

– Где Бог строит свой храм, там и лукавый ставит свою западню... Но как быть? Колонтаю жид платит за корчму, а добрые католики здесь греются, озябнув в церкви, или освежаются, когда в ней жарко.

– Недалек, только труден здесь переход из ада в рай.

– О, конечно; из этого чистилища не вытащат одни молитвы.

Колокольный звон встретил Колонтаю, и высыпавший на паперть народ низко кланялся и раздавался врознь, когда он важно шел в середину. Казалось бы, у престола всевышнего человек должен был забыть или, по крайней мере, умерить гордость свою, – напротив, он выказывает ее в храме больше, чем где-нибудь, и выставляет себя, как на идолопоклонение. Кудрявые гербы, пышные балдахины, богатые подушки, неприступные перины отделяют и

отличают его от собратий – он и тут не хочет казаться человеком. Бегущие впереди Колонтая пахолики с ковриком и молитвенником не очень учтиво толкали дробных шляхтичей, комиссаров и экономов и, наконец, простой народ и без всякого внимания наступали на крестьян и крестьянок, которые по католическому обычаю лежали на полу крестом, распростерши руки, не слыша в набожном углублении шуму приезда.

Сиповатые органы прогремели, и началась служба. По окончании обедни патер удостоил прихожан латинскую проповедь, которая, без сомнения, была превосходна, потому что ее никто не понял, не исключая, может быть, и самого проповедника. Большая часть дворянства, несмотря на изучение латинского языка, не больше понимала его, как турки арабский, и несколько десятков заученных пословиц, прибауток и судейских выражений заключали всю премудрость знаменитого шляхетства польского.

Все почтенные соседи, не успевшие приехать ранее, собрались в церковь и, как водится, приглашены были в замок. Званный обед продолжался чуть ли не до завтра, со всеми причудами того времени, и как ни привычен был князь Серебряный к долгим именинным обедам на родине, только этот показался ему длиннее ноябрьской ночи. Намерение Жеготы по долгу и по сердцу отзывало его в Опочку – он кипел нетерпением перемолвиться с Варварой не одними взорами и решил во что бы то ни стало увезти ее сквозь тысячу опасностей: Колонтай мрачно следил взорами малейшее движение обоих.

Уже давно встали из-за стола: дамы были милы, как обыкновенно, кавалеры любезны необыкновенно – веселость и любовь одушевляли всех. Наконец раздался народный польский танец, и все мужчины, заправляя распахнутые рукава за спину, опираясь левой рукой на саблю и по временам лаская сановитые усы, с гордой осанкою, но с покорным лицом пошли вокруг, каждый со своей дамою, улыбаясь на ее речи и лестно отвечая на них. Каждая выступка, всякий оборот отличался разнообразием движений, вместе ловких и воинственных. Князь Серебряный кинулся к Варваре – но рука Колонтая предупредила его: они несколько мгновений стояли, пожирая друг друга гневными взорами.

– Что это значит, пан Маевский? – надменно спросил Лев Колонтай, – мы на всяком шагу сталкиваемся!

– Это значит, что пан Колонтай заслоняет мне дорогу.

– Дорога широка, пан Маевский!

– Не шире моей сабли! – вскричал в запальчивости князь Серебряный.

Оба схватились за рукоятки.

– И, верно, не долее моего терпения. Пан Маевский, завтра мы померяемся клинками!

– Зачем же не теперь, не сейчас?

– Ради меня, ради Бога, оставьте вашу ссору! – вскричала по-русски бледная, трепетная Варвара, кидаясь между ими; но противники не переставали грозить друг другу.

– Пали! – раздалось из ближней комнаты; выстрел грянул, и перепуганные дамы разбежались во все стороны: жена старика Колонтая с криком упала на пол.

– Помогите ей, помогите! – шумели дамы; мужчины с изумлением толпились около... Лев Колонтай, побледнев, кинулся к матери.

– Безрассудный, – произнесла торопливо Варвара князю, – ты накликаешь себе опасностей – но я решилась... в десять часов ровно я буду в саду у старой башни.

Сказав это, она мелькнула в круг женщин, суетившихся около хозяйки.

Глава VII

Я ль не изведаль на веку

Любови терния и розы,

Ее восторг, ее угрозы,

И гнева знойную тоску,

И неги сладостные слезы!

Между тем старый Колонтай, стоя на пороге, хохотал так усердно, что брюхо его волновалось, как парус. Ему вторил пан староста и еще несколько человек стариков – венгерское плескалось из рюмок, которые держали они в руках.

– Каково попал? каково уметил? – восклицал хозяин. – Не беспокойтесь, пани и панны, – у жены моей отстрелен только деревянный каблучок – мой глаз не стареется... мы еще заткнем кое-кого за пояс, пан староста?

– Чудесная выдумка! уморил со смеху, пан Станислав!

В самом деле, когда уверились, что страх был напрасен и мнимая рана ограничивалась каблуком, – смех стал всеобщим. Мужчины не могли надивиться изобретательности хозяина, чтобы в комнате и в танцах выказать удаль в стрельбе, и многие дали себе слово повторить эту шутку при первом удачном случае. И точно, с тех пор обычай этот велся до наших дней. История умалчивает, нравилась ли дамам эта выдумка и всегда ли оставались безвредны их ноги, – только могу ручаться, что не только отстреливание каблуков, но даже пистолетные жмурки были в моде между удалыми поляками, особенно под вдохновением венгерского. Завязав глаза и дав в руки заряженный пистолет одному из товарищей, все другие бегали кругом его, и случалось, что пуля метко пятнала неловких.

Не находя веселья в шумных забавах праздника и преданный сомнениям ревности, Лев Колонтай, не видя Варвары, сумрачен и одинок, бродил по залам замка. Будучи одним из красавцев своего округа, одним из самых любезных мужчин при дворе Сигизмунда, куда порою являлся он, Лев Колонтай был, однако ж, нелюдимого нрава, хоть и не чуждался света. Страстный по природе, отважный по призванию, пламенный патриот по долгу, – он во всем был обманут сущностью или, лучше сказать, собственным воображением, которое рисовало ему земные предметы небесными красками. Горько было для его счастья и самолюбия обнять испещренных скудельных идолов вместо высоких существ, созданных его мечтою. Любовное пустословие, расточаемое без разбору и приемлемое без веры, непостоянство женщин и легкомыслие мужчин в любви, которая стала для ума делом, а для сердца игрушкой; отвага без повиновения в поле и без скромности дома – скоро ему наскучили. Нестерпимое невежество дробной шляхты и дерзость магнатов в народных собраниях; низкие происки при дворе для получения коронных мест и потом наглое неуважение к королю, потому что места сии были неотъемлемы; хищность на чужое добро и расточительность на свое и, наконец, всегда свои выгоды впереди блага отчизны, скрытые под ненавистной личиною ложного патриотизма, – все это породило в нем какое-то презрение и недоверчивость к людям. Он не умел вовсе разлюбить их, но уже не мог уважать – и это

чувство проливалось на все его слова, на все поступки странный отблеск добросердечия и насмешливости, обходительности и гордости.

Встреча с Варварою в доме отца произвела на сердце светского нелюдима глубокое впечатление, он привык к красоте, к остроумию женщин – но простота, но младенческая искренность были для него утешною новостью. Уверенный в себе, он приблизился, чтобы ее рассмотреть, как мудрец, – и кончил тем, что влюбился, как юноша. В ее чувствах он, казалось, находил отражение своих мыслей; он видел, что она способна любить, подобно ему, глубоко, постоянно. Тяжко бы ему было сознаться в пылкой страсти какой-нибудь из блестящих красавиц своих – но к существу столь беззащитному, столь доверчивому, столь беззаботно прекрасному чувства он почитал долгом священным. Обязывая других, мы к ним привязываемся невольно, и Лев, объявляя себя рыцарем девушки, похищенной из семейства, из родины, преданной, огорченной, – старался вниманием своим, своею братской попечительностью сгладить с ее памяти все недостойные с нею поступки, все случайные и умышленные огорчения от своих родных, от наглой прислуги и ревнивых соседок.

Сказать, что осемнадцатилетняя девушка, брошенная судьбою в чужой край, между врагов отечества, осталась равнодушною к человеку, который стал ей не только покровителем, но воспитателем, советником, другом нежным, было бы, по крайней мере, сомнительно. Варвара была свободна: внимание князя Серебряного началось к ней еще в таком возрасте, когда она не могла ни понимать, ни отвечать на чувства сердечные, и мгновенные с ним встречи оставили только в ее памяти к нему уважение, даже приязнь – но не более. Напротив, склонность ко Льву Колонтаю, основанная на долгом знакомстве и нежной признательности, пламенным почерком врезалась в ее душу. Страсти счастливых измеряются быстролетными часами; страсти злополучных долговременны, потому что сердце несчастного, засохшее от печали, жадно и глубоко всасывает и елей утешения и яд новых бедствий.

Неопытная красавица русская не могла скрыть от своего победителя ни волнений незнакомой ей страсти, ни борьбы ее склонности с совестью. Она равно ужасалась мысли не любить своего благодетеля и любить неприятеля, иноверца! Набожная и страстная вместе, она то увлекала самого Льва своею пылкостью, то оледеняла его раскаянием. В то время, когда пленительные сны юности, которым мы любим предаваться, убегая от разума, рисовали ей радости любви взаимной, счастье любви увенчанной, – черный призрак вставал пред очами, и мечты разлетались, как испуганные ласточки. Незапное появление князя пробудило тоску по родине. Прежде тысячу раз хотела она бежать двойной неволи – но страх и – скажу ли? – может быть, любовь ее удерживали. Теперь сомнения ее исчезли: помощь одноземца подкрепила ее колеблющееся сердце, и как ни горестна, как ни тяжка виделась ей разлука с милым – но уважение к вере, любовь ко всему русскому, ранние свичаи и обычаи громко звали из плена. Взор Колонтая скоро угадал в князе Серебряном соперника, и все недоверчивые, все ненавистные чувства его пробудились. Гордый в своей нежности, великодушный в самом гневе – и вспыльчивый в обоих, он то кипел ревностью, то опять утихал от ласкового слова, от ясного взора любезной. Колеблемый такими противоположными чувствами, нашел он Варвару в отдаленной комнате; она сидела, оперши обеими руками о столик, и ничего не видела, не слышала. Нагоревшие свечи доказывали, что долго длилась грустная ее дума.

– Панна Варвара не хочет видеть меня, – сказал Лев нежно укорительным голосом.

– Я не должна тебя видеть, Лев, – отвечала Варвара, отвращая лицо, чтобы скрыть катящиеся по нему слезы. – Я не должна любить тебя – о, если б то и другое было в моей власти!

– И неужели, жестокая девушка, ты бы могла так же легко совершить это, как пожелать?

– Бог дает силы на доброе.

– Доброе? – разорвать союз сердец, сделать несчастным человека, виновного только тем, что он любил пламенно, – и это замышляют во имя Бога!.. О Варвара, Варвара! если бы сердце твое в сотую долю было проникнуто моею любовью, никогда бы такой предрассудок не нашел в нем места!

– Мужчины привыкли называть все обычаи старины, все священные правила предрассудками, и часто слабый ум наш увлекается тем, как перо на ветре, – но в душе есть страж неусыпляемый, и повременно слышится его голос!

– Варвара, ты обижаешь меня, смешивая с толпою бесстрастных обольстителей. Никогда сердце мое не было колыбелью порока, никогда уста не чернели неправдою. Намерения мои чисты, как бескорыстна любовь. Сколько раз умолял я тебя решить судьбу мою, – умоляю еще раз: послушайся внушений сердца и осчастливь меня, себя самую – не могу верить, чтобы кто иной так нежно, так постоянно любил тебя, так желал угодить твоим прихотям, предупреждать твою волю, так умел оценить твои добрые качества! Скажи, чем не готов я пожертвовать для взаимности, чего не сделаю, чтоб владеть твоей рукою! – Он с жаром схватил ее руку и с умилением смотрел в очи Варвары.

– Милый, добрый друг мой! – отвечала она с чувством, – словами не выразить и не заплатить мне того, чем я обязана твоим попечением. Ты усладил мою неволю, ты воспитал мой ум, но душа моя развилась на Руси. Ты для меня сделал все, что в силах человеческих, но мог ли ты создать мне родину, мог ли пересоздать самое меня? Я забыла, что ты чужеземец; но могу ли забыть, что я русская? Холод пронизывает меня, когда вздумаю, что должна буду навек отказаться от языка родного, от могил моих предков, от полей моей родины!

– Ты все любишь, кроме меня, ледяная душа. С тобой тундры Сибири стали бы мне краше отечества.

– Но была ли бы я спокойна, лишив тебя этого незаменимого сокровища!! Нет, милый Лев, для твоего счастья я должна отказаться от собственного. Твои родные уже заранее ропщут на брак с иноверкою – дамы уже острят жало насмешки и клеветы против нас обоих. Ты повсюду будешь предметом вестей и басен.

– И я для пустых звуков пожертвую единственным моим благом на земле, и я за мгновенную благосклонность ветреного света променяю счастье целой жизни! Варвара, ужели я так низко упал в твоём мнении, ужели так мало полагаешь во мне рассудка, чтоб увидеть ничтожность этого, и так мало решительности, чтобы это презреть? Нет, Лев Колонтай имеет голос сказать свою волю и меч, чтобы ее подтвердить!

– Благородный друг! и капли точат камень. То, что украшало нас в юности, становится нередко тяжкою цепью в летах мужества. Не говорю уже, что моя совесть никогда не примирится со мною, если я соединюсь с иноверцем: видно, уж Бог не судил благословить этого союза. Но он может заградить тебе доступ к высоким санам республики, на которые призывают тебя твои достоинства и долг гражданина, – и прощу ль я себе, что была тому виною? Нет, нет, я буду несчастна в самом лоне счастья!

– Я в самом деле начинаю думать, что панна Барбара никогда не любила; такие тонкие угадки, такие дальние расчеты! Это ли голос взаимности, таков ли язык страсти? Когда для меня все надежды, все благополучие – весь мир в тебе, в тебе одной, – ты заботаешься о неверном будущем. – Панна Барбара, благодарю за эту осеннюю любовь... Кто меня любит мало – тот ненавидит меня.

– Боже великий! должна ли я слышать укоры совести за горячность мою к тебе и твои укоры за холодность! Безрассудный человек, для того что ты не думаешь о себе, я тем более должна о тебе заботиться. Женское сердце лучше предчувствует то, что не предугадывает ум мужей: брак со мною навлек бы тебе на веку множество горестей – а мне слез... Отбрось эту

мысль, добрый мой друг...

Лев Колонтай растрогался на минуту.

– Варвара, – сказал он, – моя судьба была видеть тебя так часто и так долго... почему же не навсегда? Я лелеял эту мысль, как цветок, – и ты хочешь вырвать ее с корнем – это разорвет мое сердце. Не владеть тобою – ужасно, но знать тебя во власти другого – нет, это выше меня!

– Лев, я не разлюблю век, кого полюбила однажды, – но я бы рада была видеть тебя счастливым с иною.

– И в самом деле ты думаешь, что говоришь? И ты бы могла хладнокровно видеть меня с иною – нет, на закаленном булате нельзя ничего сгладить и ничего вновь вырезать. Пусть ведает снисходительная панна Барбара, что я не из тех уступчивых людей, которые спокойно глядят, когда соперник отнимает у них милую, и на чужом пиру питаются баснями самоотвержения!.. Слезы? О, женщины расточительны на них и на увещания, потому что ни то, ни другое ничего им не стоит. Нередко безрассудные в своих прихотях, как благородны они в страстях своих, как мерны в восторгах, как витиеваты в убеждениях! Человеку, который готов жертвовать им жизнью и душою, – как нежно поют они: будьте терпеливы, будьте рассудительны!

– По крайней мере, будьте великодушны! – вскричала тронутая незаслуженными укорами Варвара.

– Если на вашем языке бесчувствие называется великодушием, я никогда его не достигну.

– О, как дорого, Лев, продаешь ты свои благодеяния!

– Я, я продаю благодеяния! я, который и в пылу страсти не преступал твоих заветов, – этот упрек слишком жесток, панна Барбара, – он не твоего созданья. Эта недавняя скрытность, эта выученная холодность – этот дерзкий пришлец Яромир – для кого он здесь? для чего он здесь? Он был на Москве, он мог видеть, знать, любить тебя, – может статься, быть любимым... Ваши значительные взоры, волненье, самые слезы твои – ужасная мысль! Но знайте, что сердце Варвары может не принадлежать мне – но рука ее не будет вовек принадлежать никому – знайте, что если я умею любить, то умею и ненавидеть страстно, и этот вор моего счастья Маевский заплатит кровью за свою дерзость!

Предавшись ревности, Колонтай совершенно вышел из себя. Жилы его напряглись, белые пятна проступали и скрывались на лице – с страшными угрозами мести покинул он комнату.

– Лев, Лев! – воскликнула Варвара вслед ему; но он ничему не внимал, он уж был далеко.

Глава VIII

Ужели сердца тайный страх

Нам семена грядущей муки?

Ужели вестницей разлуки –

Дрожит слеза в твоих очах?

Вечеринка шла своим чередом, шумно и весело. Хозяин, хлопая в ладоши, велел музыкантам играть мазурку.

– Польские косточки и в гробу запрыгают от этой музыки, – сказал он, подстрекая молодежь к танцам. Круги сомкнулись, и кавалеры, побрякивая не шпорами, которых не носили на сафьянных сапогах, но подковами, загнутыми на закаблучье, пустились то по двое с своими дамами, то по трое попеременно в середину и снова свивались в цепи, в круги, в кресты. Трудно вообразить что-нибудь живее и живописнее мазурки, и если польский есть танец войны, то мазурка – танец победы. В ней отпечатан дух народа более отважного, нежели скромного, более пылкого, чем нежного. По смелости своей он принадлежит наиболее военным, по живости – одним юношам; и точно, старики, окружа танцующих, поглядывали только, сверкая очами, друг на друга, как будто говоря: «бывало, и мы гарцевали!»

Многие из них, однако же, припевали куплеты, не имеющие связи между собой, которых в Польше и до сих пор бесчисленное множество. Вот те, которые были в устах старика Колонтая.

Милы полякам

Битвы, беседы;

Храброму лаком

Кубок победы!

Любит он звон мечей,

Любит он блеск очей,

Стройные пляски,

Нежные ласки!

Хором

Кубок и сабля!

Сабля и кубок!

Сладостна капля

С розовых губок!

Молодые люди выбирали куплеты понежнее и позамысловатее этих, но старик Колонтай

любил все, что напоминало ему его время, что дышало старинною простотою и удальством напольным.

Князь Серебряный, улучив время, когда все ноги, и глаза, и сердца заняты были мазуркою, сошел вниз, отыскал своего Зеленского и, отведя его на сторону в саду, спросил, нет ли каких новостей.

– Покуда самое хорошее, что перестал дождик, а самое худое, что Мациевский в окрестности и не сегодня завтра нагрянет сюда. Про тебя, сударь князь, слухи, будто убит в наезде!

– Я докажу этим сорванцам, что я живехонек. Отправлены ли рейтары Колонтаевы под Опочку?

– Ушли недавно; только они так хмельны, что нам не трудно будет обогнать их. У них в каждой корчме привалы.

– Тем лучше... мне хоть умереть, а поспеть домой для отражения. Я поссорился с молодым Колонтаем, но частные ссоры можно отложить и потом разведаться на границе. Осмотрел ли ты сбрую и оружие?

– Даже подковные гвозди в исправности – этот прокля...

– Тсс! тише – мне кажется, кто-то мелькнул за деревьями!

Оба замолкли, прислушиваясь, но только остальные капли падали с кровли в лужу – все было безмолвно.

– Это тень из окон, – сказал, ободряясь, Зеленский.

– В исходе десятого, по моим часам (князь отдал их Зеленскому), ты проведешь коней для нас и для Варвары Михайловны за садовою стеной к старой башне. Я с ней выйду туда – и поминайте как звали. Надеешься ли ты сделать это незаметно?

– Теперь если бы конюхов положить в пушку и выстрелить, так они и тогда бы не проснулись от хмеля.

– Условный знак – два свистка, ответ – удар в ладоши!

Оба потихоньку прокрались в разные стороны.

– Ну что же, homo di roso fede (маловерный), каковы женщины? – сказал, засмеявшись, хорунжий Солтык Льву Колонтаю, подслушав тайну беседы. – Этот Маевский, право, лихой малый – он в один миг обернул около пальца твою суровую красоту; ей-ей, я хочу проситься к нему в ученики!

– Кровь! – произнес Колонтай едва внятно; так гнев задушил его голос. – Коварная обымет труп своего обольстителя!

– Полно дурачиться, милый друг! Если бы мстить за каждую неверность жен и любовниц, так польскому королю пришлось бы набирать амазонские дружины, чтоб воевать с неприятелями. Последуй мне: я с отчаяния глотаю рюмку венгерского, выучиваю новую песню, влюбляюсь снова – и утешен!

– Но кто этот злодей? Как мог он?..

– Это мне самому любопытно узнать, *diletto amico mio* [5]. Однако ж здесь сыро – и мне хочется сказать пани Ласской, что она танцует, как ангел, если ангелы танцуют. До свидания.

Несколько минут стоял Колонтай неподвижен от гнева и огорчения – и мстительные замыслы вращались в голове его. Наконец он пришел в себя – и тихо возвратился к дому.

Не предчувствуя грозы, готовой разразиться над его головою, князь Серебряный, строя воздушные замки, полон надеждою и любовью, поглядывал на большие стенные часы, которые, будто краковская ратуша, стояли в углу, разукрашены фольгою и резьбою. Душа его прильнула к самой стрелке, и всякий раз, когда раздавался звон четвертей, – высоко билось сердце наблюдателя. Уже была половина десятого, но чем ближе подходила медленно переступающая стрелка к желанной мете, тем сильнее теснился страх в грудь его, – то хотелось ему отдалить роковую минуту, то видеть ее далеко за собою. В это время он заметил Льва Колонтая подле Варвары в жарком объяснении. Казалось, он укорял ее, она уговаривала его с нежностью – сомнения снова проникли в сердце князя и умножили тоску ожидания. Сложив накрест руки и грозно бросая взоры то на Колонтая, то на часы, – стоял он, будто прикован к одному месту.

– Пан Яромир так пристально смотрит на часовую доску, как будто хочет на ней прочесть судьбу свою, – сказала ему пани Ласская мимоходом.

Князь вздохнул.

– Пани Элеонора угадала, – отвечал он, – время и женщины для меня непонятные письмена.

– Говорят, что время разгадывает нас, а я разгадаю пану время: оно – крылатый червяк, который то ползет, то летит летом. Кто хочет поймать его – тот не верь будущему часу!

– Этот урок для меня напрасен, – отвечал князь Серебряный и, видя, что пани Ласская успела посадить с собою за карты Льва Колонтая, как тот ни отговаривался, – очень доволен ускользнул из залы, блистающей огнями, где тщеславие и остроумие, красота и любезность спорили о победе.

Стрелка всходила на десять.

Пробравшись до старой башни, князь долго ходил взад и вперед, волнуем нетерпением и опасениями. Трудно было решить, для какого употребления выстроена была в том месте башня. В старину не помещали в садах развалин замков, никогда не существовавших, не оклеивали мохом пещер, сбитых из сосновых досок и убранных устричными раковинами на гвоздях; а замок, казалось, не был никогда назначаем выдерживать осаду, – и примыкающие к ней садовые стенки были очень невысоки и надстроены частоколом. Как бы то ни было, только верх древней этой башни занят был теперь голубятнею, – а железная дверь, ведущая вниз ее, стояла настежь, – по всему видно было, что там уже издавна никто не жил. Заглохшие дорожки, мрачно и однообразно обсаженные липами и дубами, тянулись в обе стороны.

Скоро послышался князю топот коней за стеною. «Это мой Зеленский», – подумал князь, не смея, однако ж, подать ему голоса.

Через пять минут быстрые шаги кого-то привлекли его внимание, – он слушал не переводя дух, – видеть было невозможно.

– Здесь ли? – прошептал робкий голос, и рука Серебряного встретила трепещущую руку Варвары. – Поспешим, – сказала она, – земля горит под моею стопою – Колонтай так страшно следил меня взорами... спаси меня от плена – от собственного сердца!

– Одно слово, Варвара, прежде чем пустимся на жизнь и смерть; слово надежды, если Бог нас вынесет, слово отрады, если моя доля – пасть: скажи, любишь ли? можешь ли ты любить меня?

– Как брата, князь! Не могу обещать более. Сердце не вольно в выборе – оно любило Льва Колонтая!

Князь Серебряный от этих слов оцепенел, как будто наступил на змею.

– Скорее, скорее, – говорил им Зеленский, сбивая замок, – двери заперты изнутри!

– Мы погибли! – вскричала Варвара, сплеснув руками, – этого никогда не бывало... Боже мой, я вижу свет!

– Теперь мне красна смерть, – сказал князь, обнажая саблю.

Зеленский напрасно рубил частокол, взобравшись на стену: жерди были крепки, темнота и торопливость мешали ему.

Крики приблизились – кровавый отблеск озарил башню – Лев Колонтай задышался от бешенства.

– Стой, стой! – восклицал он. – Ты не уйдешь, робкий злодей, от моего мщения – я и в аду найду тебя!

– Ступай туда искать себе подобных! – отвечал, вспыхнув, князь, встречая саблею саблю.

Бледная, как мрамор, упала между ними Варвара бесчувственно, но, не внимая ничему, кроме своей ярости, они еще злобней схватились над телом ее в битву. Колонтай нападал с запальчивостью, оглашая воздух проклятиями неверной и угрозами обольстителю. Князь рубился молча от злобы – и уже кровь текла из ран обоих на несчастную виновницу их гнева.

Картина была ужасна. Колонтай махал саблей и пламенником, в левой руке его пылающем; голуби, пробужденные шумом и светом, хлопая крыльями, вились около и, натываясь на острия, падали, трепещась, на землю. Робкая толпа, озаренная зеленоватым огнем факелов, и, наконец, женщина, распростертая у ног сражающихся, побелевшая от холода смерти, – все наводило трепет на сердце. Появление уstraшенного отца было уже поздно для отвращения кровопролития – Лев с разрубленной головою упал к ногам его!!

– Спасайся, – вскричал князь Серебряный Зеленскому, который невольно был только зрителем битвы, притаясь за частоколом, – и во что бы то ни стало уведошь обо всем Агарева. Пусть он не думает обо мне, пусть он заботится только об отражении набега – вот последняя воля моя – спеши!

– Это он, это он! – произнес Зеленский, когда толпа гостей окружила князя, и скрылся из виду.

Опершись на саблю, вперив неподвижные очи на соперника и любезную, простертых у стоп его, – на два предмета его ненависти и привязанности, теперь для него уже не существующих, поражен безнадежностью в ту минуту, когда, казалось, он хватал за крыло счастье, – князь не замечал, что новое лицо – высокий, сурового вида мужчина вглядывался в него пристально.

– Я не ошибаюсь, – сказал он наконец, – этот удалец – князь Серебряный, тот самый, с которым я был знаком в Москве, с которым дрался под Москвой и который третьего дня сделал набег в наши границы от Опочки!

– Стрелецкий голова?.. – вскричали многие голоса, – повесить его как разбойника, как лазутчика!

Князь медленно, но гордо поднял очи, с усмешкой презрения окинул ими собрание и снова

впал в задумчивость. Какая угроза, какая беда могла увеличить его злополучие!

Но если зловещий голос лисовчика не произвел никакого впечатления на князя, зато он пробудил всю злобу отчаянного отца, который напрасно старался привести в чувство любимого сына. Горечь его превратилась в ярость и потоком проклятий излилась из сердца.

– Схватите его, скуйте его, бросьте этого самозванца в сарай сырой, в самый душный погреб, чтоб оттуда был один шаг до ада, – кричал он неистово. – Злодей русской породы, – тебе мало было грабить в границах польских, в моих деревнях, губить и похищать во мраке ночи – нет, ты дерзнул еще вкрасться в дом мой, насмеяться над гостеприимством и, наконец, убийством сына заплатить за хлеб-соль хозяина. Бедный мой Лев, единственная моя утеха... кому теперь передам я имя Колонтаев!

Старик сплеснул руками над головой, и рыдания прервали речи его. Но скоро любовь родительская зажгла в нем опять воспоминание обиды и жажду мести за кровь...

– Но если на старости лет мне придется лечь в гроб сиротою, – воскликнул он, – ты, Серебряный, ты, убийца моего сердца, моего имени и племени, ты бесчестною смертью умрешь на могиле, в которой схоронят все мои надежды; ты будешь первым памятником моей любви к сыну... Тогда!.. нет, всегда – жив он или мертв – ты все-таки не избежешь гибели; в этом клянусь моей честью и отчиною! Ничто, никто не спасет тебя – я не возьму бочки золота за твой выкуп... Ты падешь на жертву моей мести, на страх всем врагам моим. Сорвите с него польскую одежду, – примолвил он, сверкая взорами, – которую он позорит, и киньте злодея в эту башню. Шесть человек часовых мне жизнь отвечают за его тело – а душу его я с наслаждением вырву завтра!

Во всяком состоянии есть низкие люди, готовые в радости сердца исполнить самые бесчеловечнейшие, самые бесчестнейшие приказания торжествующей силы, отравляя насмешками побежденное несчастье. Многие из шляхтичей надворных кинулись обрывать и вязать окруженного князя, и хотя благородные поляки с негодованием смотрели на это, но они знали, что противоречия только раздражили бы Колонтая, – и молчали. Сопротивление со стороны князя было бы безрассудно – он не произнес ни звука, не сделал ни одного движения в защиту свою – он только бросил презрительный взор на хозяина. Наглые челядинцы грубо втолкнули его в темный погреб и со смехом захлопнули двери.

Глава IX

Во мгле непробудимой ночи,
Казалось, блещут злые очи,
Внимает влажная стена
И будто шепчет тишина;
Порой лишь капля водяная
Сквозь плит холодную слезой,
На миг безмолвие смущая,
На звонкий пол спадала мой,

Как память жизни, воли милой,

Цветущих над моей могилой.

Медленно течет время узника. Князь Серебряный, брошен на сырую землю, полураздетый, окованный, тоскуя, смотрел на одинокий солнечный луч, как змея ползущий по стене. Описывая полкруга, он подымался выше и выше, по мере того как западало солнце, – сверкнул на потолке и померк, будто звезда надежды. Отчужденная от мира стенами темницы, душа любит утешаться ничтожным подобием счастья, лестными гаданиями о будущем – и огорчена малейшею неудачей, случайною мечтою сна. Так было и с князем. Покуда сиял ему луч дня, он будто видел в нем друга, делящего с ним скуку заключения, будто читал в нем обет свободы; но когда мраки ранней ночи охватили его – невольный холод пробежал по членам, и мысль о безвременной гибели бросала его то в ярость, то в отчаяние. Неизвестность будущего напрягает душу, как тетиву, и малейшее дуновение исторгает из нее грустные звуки – она дрожит, готовая расторгнуться. Но когда к скорби неволи присоединяется еще ожидание смерти, томление ревности и раскаяние в своих ошибках, тем горестнейшее, потому что оно поздно, – то муки нетерпения пронзительны и глубоко... они, как зубристое жало, впиваются в сердце. Князю будто слышался голос злого духа: «ты не любим – она в объятиях другого!» И он в припадке бессильного гнева потрясал цепями и, снова пораженный безнадежностью, упал, как хладный камень между камнями.

Почти сутки протекли его заключению – но к нему только однажды входил страж с кружкой воды и куском хлеба. Кругом было темно, как в душе его, и тихо, будто в могильном склепе. Взор напрасно напрягался уловить предметы, ухо напрасно ждало каких-нибудь звуков для развлечения. Башня разделена была стеною надвое, и в передней комнате, за дверью, поместились караульные. Порой раздавался только мерный шум шагов часового, и порой слышалось храпенье его товарища... и вот ропот разговора привлек любопытство узника. Казалось, говорил тот, который проснулся:

– Проклятые каменья! и сквозь солому ребра переломали – а уж так сыро, что я обрасту мохом, если еще ночь здесь заночую!

– Экая неженка! от одних суток размяк, словно пряник от дождя. Потерпи немного – здесь не век вековать. Коли не в ночь, так уж, верно, к свету этого русского забияку – в землю, а мы – в постель! спи хоть до преставления света!

– Черта с два в землю: паны гости за него взъерошились, да и сам пан Лев в упрос просит старика!

– Слышь ты, старик и слышать не хочет: рвет и мечет встречного и поперечного. Заклялся его извести, так не спустит. Уж двенадцати рейтарам велено в исправе ружья держать... хочет на ворота, да и «цель-паль».

– Хоть бы посмотреть, как его распалят, я отродясь не видывал, как добрых людей расстреливают.

– Нет, я так, слава Богу, и видел, и сам палил; было смеху вдоволь, когда жида Берку за разводку вина потянули к Иисусу; бедняжка не успел перекреститься, ан хлоп – и как не было!

– Тут, брат, и православному не до креста, не то что еврею – да полно, верно ли это сбудется?

– А вот так-то верно, что я готов о кварте водки заклад держать! Старый пан при мне наказывал ловчему, чтобы все было готово, покуда гости спят!

Князь Серебряный был мужествен от природы и от привычки, и только одно сомнение, одна неизвестность могли волновать его, но когда опасность превратилась в достоверность неизбежную – он хладнокровно встретил весть о смерти, с которой так свыкся в семилетние мятежи. Правда, природа взяла свое после борьбы различных страстей и опасений – слезы градом покатались из его очей, когда он вздумал о родных, о родине, о славе, для коих он жил, для которых уже погибнет в цветущем возрасте. Но подумал уже без страха.

«Я сожалею только об одном, – сказал он самому себе, – что умру бесславною смертью, а не на стене Опочки. Я виновен, что слушался более сердца, чем долга, – но кто бы не сделал того же для выручки несчастной сироты... Прочее в руке Бога. Не в моей воле было забыть ее, не в ее власти любить меня – пусть будет то, что нам обоим написано на роду».

Он занят был такими мыслями, когда в передней послышался отголосок шагов многих особ, – свет блеснул в щели дверей – ключи брякали – замок скрипнул пружиной... Князь перекрестился с биением сердца.

Неожиданное появление Мациевского, который спешил попить на праздник к Колонтаю, но опоздал, изломав на дурной дороге бричку, так поразило Зеленского, что он, схватя в завод только одного коня, ускакал, не оглядываясь. В суматохе никто и не думал за ним гнаться, но он, никем не гонимый, все-таки летел во весь опор, воображая, что слышит за собой преследование, и шорох каждой ветки, взлет испуганной им птицы бросали его в жар и холод. Окрестными дорогами, которые от дождя слились в топкое болото, он скоро утомил коней своих. Поневоле пришлось ему ехать рысцою, хотя испуганное сердце скакало в груди беглеца. Крепко ему было жаль своего доброго князя, и, воображая о горькой доле, его ожидающей, всякий раз он ронял на ветер пару слез и каждый раз запивал свое горе водкою из дорожной фляги, с которою три дня не здоровался. При этом, желая исполнить скорее поручение князя и надеясь, что Агарев его выручит, он очень усердно отвешивал коню своему несколько ударов плетью, как будто он водкою подкреплял его, а не себя. Видя, однако ж, что и эти убеждения перестали действовать на четвероногих, он скрепя сердце заехал нарочно в самую бедную деревушку, чтобы не встретиться с рейтарами Колонтая. Войдя в одну пустую избу – потому что хозяева разбежались со страху, издали завидя всадника, от которых им не было ни житья, ни покою, – Зеленский отыскал в поставце и в печи кой-чего позавтракать; заложил некупленного корму коням и потом, запершись кругом, залез на сено под самый конек кровли и заснул там сном богатырским.

Солнце перекатилось далеко за полдень, когда он проснулся, а ему еще оставалось верст двадцать дороги. Он поспешно оседлал коней, пересел на подручного, чтобы уравнять силы обоих, и, очень счастливо никого не встречая на дороге, приближался к Великой. Предполагая, что Жегота изберет обыкновенную переправу ниже Опочки, он нарочно взял вправо, чтобы с ним не столкнуться, и уже сквозь деревья ему мелькали на закате солнца холмы противоположного берега, уже он стал спускаться к реке, как вдруг двое с ног до головы вооруженных людей с двух сторон выпрыгнули из орешника и схватили под уздцы его лошадь.

– Ни с места, – произнес один из них.

– Если ты пошевелишь языком или оружием, я приколочу тебя, как бляху, к седлу, – произнес другой.

«В хорошие руки я попал», – подумал Зеленский: но он не хотел, однако ж, показаться перед ними трусом.

– Да как вы смеете, да почему вы осмелились остановить вольного шляхтича? – вскричал он,

подымаясь на стременах.

– Полно шуметь, товарищ, – отвечали ему, – ты видишь, как, а почему – узнаешь.

Сказав это, один повел его в чашу, между тем как другой, держа короткое ружье наготове, шел сзади. Зеленский недоверчиво поглядывал на обоих. Против всякого чаяния его привели к Жеготе.

Панцерные дворяне были учреждены еще при Ягеллонах, во время войн с крестоносцами и русскими, и – за обязанность садиться на коня по первой тревоге – пользовались всеми привилегиями шляхетскими. Как всегда случается с военными кастами, панцерники любили более грабеж, чем работу, и пограничное положение их давало к тому тысячи способов. Правда, и русские не оставляли их в покое кушать добычу, отплачивая набегами за набеги, отмщая личные обиды или выручая свои убытки, но так как панцерники были наездниками по природе и ремеслу, то выгода почти всегда оставалась за ними. За недостатком законного грабежа эти рыцари ночи выезжали нередко вблизи и вдаль на дороги облегчать от лишнего груза своих соотечественников, а истинное или мнимое хищничество русских служило им предлогом и отговоркою.

Пан Жегота был одним из самых удалых рубак и самых беспощадных разбойников; два качества, которые в те времена феодального безначалия почти всегда сливались воедино, и ему недоставало только знаменитого сана, чтобы подвиги его были прославлены. Зато, если высшее дворянство обходилось с ним едва не презрительно, – окружные, дробные шляхтичи, вербовщики конфедераций, охотники до перекапывания гранных столбов и до заездов на соседние пашни, снимали шапки, произнося его имя, – так между ними был славен этот атаман забияк.

На небольшой поляне несколько человек спали в вооружении – кругом раздавались звуки топоров по соснам. Сам Жегота сидел на сброшенном седле. Под серым широким плащом сверкала кольчуга, но голова покрыта была рысьею надвинутою на брови шапкою. Он варил в котелке молоко с пивом и, помешивая его ложкою, жарко разговаривал с другим поляком, против него лежащим. Самопал и сабля лежали под рукою, и между ними выглядывала фляга – как будто и она принадлежала к числу оружия. Усатый шляхтич, с которым он разговаривал, потягивался на другой стороне костра, в контуше, на котором можно было привести в известность каждую нитку; зато, конечно, никто не решился бы взять греха на душу – сказать, какого он был цвета. Огромный палашище качался поперек его туловища, как весы. Они продолжали разговор, не замечая новоприбывших.

– Ты черт, а не человек, пан Жегота, – у тебя в жилах водка с порохом... лихая выдумка, ради бора святого Антония, славная выдумка! – сказал шляхтич.

– Небось не дадим промаха, – отвечал Жегота. – Вместо того чтобы обирать крестьян, у которых, признаться, и лишнего пера в петушьем хвосте не оставлено, мы, словно горшком воробьев, накроем русских в самом замке. Половина засадных ратников выслана с сотником в погоню за моим сыном, которого я нарочно послал выманить их из крепости, а остальные ни сном ни духом не чувствуют, каким завтраком мы их попотчем с лезвия. Зная, что вблизи нет строевых шведов, ни поляков, они спустя рукава сторожат стены – а нам не привыкать стать лазить по-кошачьи. А уж ворвемся туда – гуляй душа, своя рука владыка. Только смотри, пан Плевака, подплывши потихоньку на плотках к острову, – кроши всех и реви пуще всех.

– Ради Валаамова осла, пан Жегота, да я что за рыба, чтобы не кричать во все горло; а горло у меня, не хвостовски сказать могу, что твоя труба, – рявкну, так на ногах не устоишь. На будущем сейме за него мне не один червонец перепадет, а уж что касается до палаша, – бассама те теремте – человека пополам, как тыкву.

– Ну, то-то же, пан Плевака, сам помни, да и другим скажи: кто идет с Жеготою, тот не

оглядывайся – у меня провожатый к старому замку – пуля. Я не люблю шутить.

– Ради краковского колокола, пан Жегота, разве мы не родовитые шляхтичи, разве наша храбрость не известна всей земле? Слово гонору – осмелюсь кто покривить рожу, сомневаясь в этом, – так в один миг у него будет двумя усами менее... да мы готовы в самый ад прыгнуть за славою!

– Припеки тебе лукавый язык, пустомеля, хоть тебе не миновать аду – только, верно, совсем за другие причины. Ты не за славой ли лазил в карман к подсудку Дембеку?

– Тише, пан Жегота, ради бесовского хвоста потише – что нам за охота связываться с ябедою; я по сию пору боюсь пустить его злоты плясать по корчемному столу – они и в кошельке гремят доносом.

– Давно бы так. Кажется, пан Плевака, и я чего-нибудь да стою, как ты думаешь?

– А почему мне знать, пан Жегота. Лукавый лучше ценит, почему у тебя продается душа и сабля!

– Ах ты, осиновое яблоко! шутник, собачья голова, – а все-таки о прежнем речь. Я не кинулся бы в петлю, не видя поживы. И теперь меня взманило свезенное жителями в Опочку добро. Да, кроме того, сказывают, у нового головы много своей драгоценной посуды – мы ей протрем глаза... а самого этого князька Серебряного, будь я холоп, а не вахмистр, если не перечекаю в деньги.

– Ха, ха, ха! сперва надо сделать выжигу, пан Жегота, а в этом положишься на меня – ради борова святого Антония, на меня!

Зеленский не проронил ни слова – но люди, которые привели его, видя, что атаман не обращает на них внимания, наконец громко сказали Жеготе, что они перехватили этого шляхтича, когда он хотел бродиться за реку. Пан Жегота поднял глаза и чуть двинул шапкою на поклоны пришельца.

– Черт меня согни в бараний рог, если где-нибудь я не видел васана добродзея, – сказал он.

Зеленский напомнил ему, что они вместе пили у эконома в замке Колонтаевом.

– Так зачем же нелегкая несет тебя в Русь, и еще со вьюком?

Зеленский, видя, в каком обществе находился, кивнул значительно Жеготе головою и, подлаживаясь под его статью, сказал на ухо, что он имел честь служить у пана Маевского, который имел неприятность быть убитым, ранив на поединке Льва Колонтая, а что он, пан Стребала, имел благоразумие, оставшись сиротою, убраться с чемоданами и конями подалее.

– А, а, понимаю, имел честь бежать. Это лихо, это по-нашему, пан Трепала, пан Стрекала, пан Стребала, – как бишь ты назвал себя? Милости прошу к моим молодцам в науку – между глаз нос украдут. Только извини, приятель, хочешь не хочешь, а оставайся здесь до завтра. Сегодня ни одной души не перепущу за реку; у нас там будут свои счета, так надобно врасплох пожаловать. Пан Плевака, что ж не потчуеть гостя!

Фляга пошла гулять по рукам – и Зеленский, поглядывая волком к лесу, не переставал, однако ж, улещать хозяев своих и шутливостью очень им полюбился.

– Ради бечевки святого Францишка, пан Стребала, ты за полверсты пахнешь пенькою! Пршистан, Юрка, до вербунка! И с нами в наезд!

– С вами в огонь и в воду, – отвечал Зеленский, притворяясь пьяным.

– Кохаймыся! От пана до пана! – возгласил Жегота, – а между тем не видал ли ты рейтариин Колонтая?

– Мне было не до них, – а, кажется, вдали тянулись вершники...

– Растянул бы их в проволоку – этих женских прихвостней: как танцевать – то их на цепи не удержишь, а драться, так ленивы. Да я радехонек: белоручка, их ротмистр, пришел бы надо мною распорядиться да величаться, а я не больно жалую чужие указы – а всего меньше подел добычи. У волка не тронь оглодка!

– К черту всех колонтаевцев! У нас и без них сотня таких рубак, что на каждый мизинец по пяти русских мало, – добре бьют и добре пьют! Бассама те теремте!

Зеленский, боясь, чтобы ему не потерять головы прежде времени, свалился на траву и захрапел, будто сонный.

– Удалой парень! – сказал про него Плевака.

– Да, если б дрались языками, так вы оба богатырями бы прослыли! хорош гусь, коли с кварталы кувыркнулся!

– Не всем за тобой тянуться, пан Жегота; скорее напоишь воронку, чем тебя. А чемоданчики-то умильно глядят, товарищ... Как ты думаешь?

– Что тут и раздумывать! Его совестно отпустить к русским – беднягу оберут, как липку. Когда начнется переправа – ему толчок в бок, и концы в воду. Это твое дело, пан Плевака: ты ведь рыцарь добродетели и славы!

– Ха-ха-ха! Я его опохмелю осетринного настойкою, ради самого пана Твердовского опохмелю. А коли вынырнет, так еще и благословлю на дорогу молотком своим!

– Однако месяц сегодня зайдет перед утром, так нам можно и отдохнуть до тех пор: работы ножевой будет вдоволь.

Жегота, отдав нужные приказания, завернулся в плащ, ему последовал и Плевака. Через четверть часа они уже храпели во всю ивановскую.

У Зеленского сердце билось, как рябчик в петле, слыша, какую участь готовили ему злодеи... он робко поднял голову: все спали, огонь чуть дымился, месяц тихо восходил на небо.

Тогда и в устроенных войсках военный порядок наблюдался очень плохо; мудрено ли же, что не было стражи у этой вольницы? Желая сохранить тайну своего похода, Жегота велел останавливать проезжих днем, но в ночь их не могло быть – в смутные те поры не только на дорогу, но и на улицу не выходил никто.

Зеленский, трепеща, дополз до своих коней, потихоньку отвязал их и потихоньку повел к реке... но в это время один панцерник проснулся, привстал – беглец замер на месте, склонясь за конем, и тот, никого не видя, опять склонил голову... Зеленский мимо и мимо – и вот уже на берегу.

Великая, вздувшись от дождей, сверкая и гремя, катила волны по каменной луде; прибой плескал между грядами валунов. Зеленский стоял в нерешимости: брод был ему неизвестен, а река, по сказкам, в этом месте была глубже и быстрее; но опасность грозила ему сзади, долг благодарности звал вперед, участь крепости и спасение князя зависели от одного его слова – и он решился. Спугнув заводного коня вперед, он съехал и сам в воду; глубже, глубже

– волны с шумом кипели, неслись, плескали на седло, голова его кружилась, в глазах рябило
– и вдруг конь и всадник исчезли в крутящемся омуте.

Глава X

Жребии в лоне таинственном рока

Зреют, незримы для смертного ока.

Мы оставили князя Серебряного, ожидающего палачей своих, – в самом деле, дверь распахнулась с шумом, и при дымном свете факелов несколько человек вошли в темницу. Впереди их был Лев Колонтай, бледный, с завязанною головою, ведомый Солтыком и Зембиной. Он шел, качаясь, и его посадили на камень от усталости... глаза его бродили дико... он задыхался. В углу, обернувшись в широкий плащ, плакал какой-то молодой человек... Лев начал говорить.

– Знаешь ли, князь, какая судьба ждет тебя?

– Знаю и готов, – отвечал хладнокровно Серебряный. – Я завещаю дому Колонтаев позор моей смерти, а своему – месть за нее!

Колонтай страшно улыбнулся.

– Угрозы непонятны полякам, потому что страх неизвестен им, – возразил он. – Притом, князь, ты взят не под знаменем, но в ложном виде.

– Мне знамя – сабля. Впрочем, сила всегда найдет обвинение впавшему в ее руки.

– О, конечно, – прибавил Солтык, – если б у тебя было знамя даже вместо носового платка, и тогда перед Станиславом Колонтаем ты стал бы не правее ни капли.

– Князь Серебряный, – ты свободен! – сказал Лев Колонтай.

– Лев, ты благородный человек, – отвечал Серебряный, – но я не приму твоего дара, покуда не узнаю от Варвары Васильчиковой: остается она или нет в этом замке. Я уже опоздал на место чести, – по крайней мере, не изменю долгу приязни: я готов своей смертью искупить ее свободу.

Колонтай молча подал руку Серебряному – чело его прояснилось.

– Ты враг мой, – молвил он, – враг по роду и сердцу – я не могу любить тебя, но мы любим одно – и я не могу тебя ненавидеть... О, если б ты мог, по крайней мере, быть счастлив тем счастьем, которое у меня отымаешь... Вот панна Барбара – она едет с тобою.

Плащ распахнулся, и в молодом поляке Серебряный узнал ту, для которой жертвовал волей и жизнью. Она с признательностию, но печально пожала его руку.

– Князь, – произнесла она, – я предаюсь твоему покровительству.

– Твоему великодушию, князь, поручаю священный для обоих нас залог... будь ей другом и братом, будь ей ангелом-хранителем, и если уж все разлучило нас – то почему, Барбара, не быть ему и женихом твоим!

– Мой жених в небе, – отвечала она.

– Спешите! я тайно от отца приготовил побег ваш – но эта весть скоро дойдет до него – а месть его непримирима. Проводник и бегуны ждут вас... Барбара... – он хотел выговорить «прости», это ужаснейшее слово, какое когда-либо изобретал человек для казни любящихся, – но у него не хватило сил – он скрыл лицо в плащ и рыдал, как дитя.

Плач мужчины имеет в себе что-то потрясающее, что-то раздирающее сердце – и все, кто тут ни был, с изумлением почувствовали слезы на лицах своих. Варвара, утешая друга, говорила, что собственная совесть должна вознаградить того, кто победил самого себя.

– Бог видит, как дорого стоит мне победа, – отвечал он, – и не скрою, что она скорее дань, чем жертва... да будет!

– Живи, – сказала Варвара, ступая, чтоб удалиться.

– Нет, я не переживу надежд моих – они срослись с моей душой, и она увянет с ними. Для любви отказался я от славы; разлука с тобой возвратит меня ей – и я еще дорого продам жизнь, которая отныне не имеет для меня никакой цены. Да благословит тебя Всевышний на родине!..

Варвара хотела идти, но обернулась еще раз к любезному, еще раз простерла к нему руки – и через миг она была на груди его – слезы несчастных смешались.

– Колонтай, Варвара! – вскричал тронутый князь, – я не разлучу вас – вы от людей и от Бога заслужили своей любовью счастье.

– Нет, – сказал Лев, качая головой, – для нескольких часов восторга не хочу покупать долгих лет чужого горя. И в самом счастье мысль, что Барбара решалась оставить меня, отравила бы мою любовь и ее спокойствие. Пусть будет, что суждено судьбою. Прости...

– Поедем! – произнесла Варвара, кидаясь в двери. Зембина и Солтык обняли князя, прося его помнить, что и в Польше есть добрые люди. Через минуту путники уже скрылись из виду. Лев с беспокойным вниманием слушал топот коней их, но когда затих и последний отголосок поезда – он с тяжким стоном упал в руки друзей своих.

Проводник скакал во всю прыть глухими тропинками и, едва давая коням вздохнуть, пускался вновь по-прежнему. Князь Серебряный несся наряду с плавным иноходцем, на котором сидела Варвара, но он и она, погруженные в думы, не имели ни удобства, ни желанья завести речь между собою. Дорога, просохшая после дождя, была ровна – месяц сиял сквозь ветви – ехать было прекрасно, и они быстро приближались к мете своей.

– Далеко ли до Великой? – спросил проводника князь Серебряный.

– С полмили, – отвечал тот, – и если не попадем на шайку пана Жеготы – дело кончено. Впрочем, теперь его удалцы, чай, храпят, как волынка.

Князь спросил у Варвары, не чувствует ли она усталости, проскакав пятьдесят верст в такое короткое время. Она отвечала, что душевная боль онемела в ней телесное утомление и что чем ближе подъезжает она к родному краю, тем сильнее в ней нетерпение уже быть в нем.

Проскакав еще версту, проводник посадил коня и тихо сказал князю:

– Надо подготовиться – за нами погоня!

– Что ж нам делать? – вскричал князь, болезненно глядя на спутницу.

– Драться, покуда сможем! – возразил проводник, выправляя оружие. – По приказу господина моего я готов разнести башку первому приятелю, если он сунется нас задерживать.

– Друг мой, драка теперь бесполезна, – их, верно, не двое и не трое, а мне каждый миг дороже самой жизни. Ужели мы не уйдем от них – кони у всех утомлены одинаково.

– Нет, боярин, на бегунов плохая надежда. Они могли дважды сменить своих из-под рейтаров, ночующих на дороге, – а наши хрипят и в мыле с ног до головы...

Топот приближался.

– Стой, – вскричал князь Серебряный, – попытаем последнее средство – ты скачи вправо с конями, чтобы обмануть погоню – а мы пешком ударимся в лес куда глаза глядят.

– Правда, правда, – сказал проводник, помогая слезть с коня спутнице и затыкая за пояс князя седельные пистолеты. – Дай Бог удачи, а уж я проведу их молодецки.

Князь сунул в пазуху доброго проводника кошелек свой и вместе с Варварою скрылся в чаще – один скок коней удалялся от них, между тем как другой становился явственнее.

С большим трудом пробирались беглецы между кустарниками и валежником. То ноги тонули во мху, то сучья цеплялись за платье. Тихо вел князь усталую свою спутницу, отводя ветви от лица ее и пытая стопой ее дорогу... Они спустились к ручью, впадающему в Великую, чтобы по берегу ее легче пробраться к устью... как вдруг невдалеке за собой слышали говор... Голоса, казалось, о чем-то рассуждали, о чем-то спорили – наконец раздался лай гончей собаки, вероятно, пущенной, чтобы их выследить. Сначала она взлаяла и замолчала, потом опять подала голос, возвысила его громче, громче и наконец залилась, напав на горячий след... Громкие клики ловчих вторили ей и далеко раздавались по лесу... Сердца застыли в обоих беглецах наших.

– Я не могу идти далее – спасайся! – сказала отчаянным голосом Варвара – и склонилась к земле.

– Гибнуть, так вместе, – возразил Серебряный и взбросил ее как перо на плечо свое и прыгнул в ручей, чтоб обмануть собаку. Едва успел он пробежать шагов сорок по колени в воде и потом притаился в орешнике на противоположном берегу, как несколько человек, предводимых лающей собакою, приспели на место, ими покинутое. Гончая, потеряв в текущей воде след, с визгом бегала взад и вперед по берегу – ловчие ждали ее показу.

– Тут был, улюлю, тут играл, тут сметку дал, – кричал один, подстрекая собаку охотничьими восклицаниями.

– Бабушка надвое сказала, – возразил другой, – может статься, это вовсе не они – гончая спугнула лисицу, вот тебе и вся сказка тут!

– Как бы тебе не лисицу – Урывай, небось, не знает, что русский, что зверь?

– Он-то знает, да мы как у него допросимся толку? Волк меня укуси! Разве ты учил его новой азбуке или сам по-собачьи мороковать стал?

– Станешь и по-птичьи говорить, как триста канчугов на ковре обещают влечь...

– Да что нам родить, что ли, беглецов? Волк меня укуси – какой леший занесет их в эту трущобу?.. Они, знай, катают в хвост и в гриву по дороге и теперь, верно, уж в когтях у наших вершников.

– И впрямь так, пан ловчий, – прибавил третий голос, – что нам тут караулить ветер – до дому

пора...

– До дому, то есть до корчмы, – возгласили многие.

– Храни Бог, вздумает еще какая ведьма подшутить над нами – так проблудишь до завтра около одной сосны; собаке недаром померещилось – ан вдруг и след простыл.

– Свентый Юзеф, змилуйся над нами! До дому, пан ловчий.

– Ах вы трусы, паны добродзеи, – возразил ловчий, но таким голосом, который доказывал, что он сам радехонек воротиться и при случае свалить на других неудачу. – Ну, что мне делать с вами? Одними руками не отенетить острова, домой так домой. Назад, Урывай, назад!

Голоса понемногу удалились.

Благодаря Бога за неожиданное избавление, Серебряный снова поднял Варвару; легка ему казалась ноша: отрадное чувство – спасти свободу любимому существу, придавало ему сил и бодрости. Они достигли до берегу.

Шум Великой одушевил Варвару – она быстро сбежала к ней, упала на колена и с горячей мольбою сотворила три земных поклона – потом припала к реке устами и с жадностию глотала мимотекущую струю.

– О, как живительна вода реки родимой, – сказала Варвара, – она напоила меня прежнюю радостью – но если бы и смерть текла в струях ее, мне и тогда показалась бы она сладостна. Добрый друг мой, – примолвила она, взяв руку князя Серебряного, который с умилением внимал ей, – чем я могу воздать тебе за твой тяжкий подвиг, за твое беспримерное великодушие? Чем – когда и это бедное сердце не принадлежит мне... Но есть Бог – он наградит тебя: слезы сироты, как роса в полдень, улетают на небо!

– Я награжден и на земле, – отвечал князь, – если порой ты вспомнишь обо мне – если хоть раз вздохнешь о моей одинокой участи...

Месяц закатывался; тускло светились вдалеке башни замка Опочки, только по грядам сверкала пена Великой. Князь с радостию заметил, что все, как на дороге, так и в окрестности, было покойно – замедление Колонтаевых рейтаров отсрочило, как видно, неприязненные действия.

Зная, что невдалеке должна быть хижина рыбака, про которого сказывал ему Агарев как про доброжелателя русских, потому что сам он был выходец русский, – князь оставил Варвару в укромном месте под ивою и отправился отыскивать средств к переправе. Множество плетенных из тростнику рыболовных морд, мелькающих по берегу, указали ему хату рыбака... он осторожно постучал в двери. Через несколько времени волоковое окошечко отодвинулось и дрожащий голос спросил его:

– Что надо, пан добродзей?

– Твою лодку, дедушка, чтобы переехать в ней за реку. Поторопись, старик, я дам тебе два злата за это.

– Если бы ты придал к ним два кошачьих глаза – так нешто можно бы ехать – а то куда мы в такую темень!..

– Если ты не хочешь услужить мне за деньги – так послужи для матушки Руси – важное дело зовет меня в Опочку.

Казалось, эти слова подействовали на старика. Он захлопнул окошко, и князю почудилось, будто бы он разговаривает, но с другим ли или с самим собою, – это невозможно было расслушать. Скоро старик вышел в двери и кинулся по русскому обычаю обнимать князя.

– Сокол ты мой, – приговаривал он, – земляк родимый, каким буйным ветром занесло тебя на эту сторону?.. Для матушки святой Руси готов хоть в полымя, не то что в воду, – уж не гонцом ли к Науму Петровичу? Ох, много я принял горя на своей стороне, а готов за нее положить головушку! Сейчас, родимый, налажу челнок!

Оставя словоохотного рыболова сдвигать челн и управляться с ним, князь возвратился к Варваре – она спала, утомленная путем и бессонницею, под журчанье реки, лелеявшей ее детство. Князь потихоньку сел подле нее, склонился над нею, желая уловить во мраке милые черты ее – внимать ее дыханию – почувствовать его на лице своем. «Ангельская душа! – думал он, – никакое подозрение не смущает чистой души твоей, среди опасностей всех родов ты бесстрашно спишь под охраной невинности!»

И сердце его снова согрелось нежностью, он дерзнул мечтать о взаимности, улыбался надежде... время все исцеляет... Рыбак прервал нить сладостных размышлений – и он тихо разбудил свою прекрасную спутницу.

– Где мы? – спросила она, озираясь, – ужели еще не в родной земле? Я была там, я видела мать мою – она была так светла лицом, так ласково звала меня... И это был только сон – ах, все, что мило сердцу, – сон!

– Куда прикажешь везти себя, Варвара Михайловна? Было время, что я надеялся принять тебя в палате своей – теперь не для меня это счастье. В Опочке есть пожилой священник; не хочешь ли остановиться у него, покуда я не вытребую твоего наследия от хищного твоего дяди и гостеприимства от других родных твоих?

– Так у меня теперь один дом – это могила моей матери. При том женском монастыре под Псковом, где положена мать моя, доживу и умру я... Теперь делай, князь, что найдешь за лучшее... У меня только одно желание – умереть на своей земле русской.

Варвара вошла в челн – князь уже занес ногу, чтобы прыгнуть в него, – когда грянувший выстрел вдали осветил окружность. В один миг оба берега загорелись перепалкою и вдруг вспыхнувшие пуки соломы и лучин озарили всю реку – люди высыпали отовсюду, – казалось, земля расступилась, чтобы родить их, – князь был окружен ратными.

– Это он, это князь Серебряный – это голова наш! – радостно восклицали стрельцы, – Веди нас, батюшка князь, на этих разбойников!

Серебряный обнажил саблю.

– За мною, други! – вскричал он, видя спускающихся вниз на лодках и плотках панцерников; он вскочил в лодку, и еще несколько других лодок, наполненных стрельцами, ударили веслами и в три мгновения уже сцепились с первым плотом.

Счастье помогло Зеленскому выплыть – и Агарев в тот же час, как можно скрытнее, выслал по обоим берегам засады встретить разбойников, велел им заpastись пуками лучин, хворосту и соломы, чтобы осветить всю реку. Как ждали, так и случилось: обманутые тишиною панцерники, без всякого опасения, без всякого порядка, пустились на едва связанных прутьями бревнах, в полной надежде перерезать врасплох засаду опочинскую. Но можно вообразить, каково было их изумление, когда с обеих сторон открылась пальба, и они открыты сзади и видны как на ладони. Схватка была, однако, ужасна... Отчаянные в пощаде панцерники дрались на смерть... Крики мести или неистовства вторились холмами – плоты, пристающие к берегу, были в тот же миг очищены свинцом и железом; иные, набегая на

гряды камней, разрушались, и кровавая смерть ожидала избегнувших смерти влажной. Бой продолжался с остервенением с обеих сторон – выстрелы стали редеть, потому что перекрестным огнем можно было повредить своим, зато сабли и копья сверкали и ломались.

Рассеяв передовых с плота, опрокинув их в воду живых и раненых, князь Серебряный выскочил на другой, на котором был сам Жегота. Его товарищи отстреливались метко и отважно, сам он, как волк, окруженный охотниками, отгрызался, не робея. Но все уступило мечу Серебряного.

– Сдайся! – кричал он атаману, – или погибель твоя неизбежна... Сдайся!

– Я тебе сдам свинцовый злот! – отвечал с злобной усмешкою Жегота, прицелил и пуля засвистела – но она пробила только рукав князя...

– Убирайся же к черту! – вскричал он и со всего размаху ударил Жеготу в грудь саблею...

Разбойник зашатался, упал, – и, падая, увлек с собою князя; как змея, обвил его руками, задушая огромным своим телом, и погруз вместе с ним на дно. Кто видел последнюю борьбу двух противников; кто слышал последний стон князя в жару и в дыму схватки, при неверном сиянии огней?

Как раскаленный шар вставало солнце в тумане. Останки недавней битвы разбросаны были по берегам; окровавленные бревна тихо вращались в заводях или, увязнув, стояли между камней; на иных дымились еще трупы от пыжей, тлеющих в одежде. Через реку плавили захваченных коней панцерников, из которых весьма немногие избежали побоища. На русской стороне делили добычу.

Но все тихо и мрачно было под самыми стенами замка, хотя множество народа было собравшись там, и самые башни, казалось, нахмурясь, взирали с холма высокого: стрельцы откачивали утопшего своего голову.

– Боже милосердный! – восклицал Агарев, возводя к небу очи, полные слезами, – неужели ему на роду написано погибнуть такую смертью! Бедный, добрый друг, – для того ли она выпустила тебя из когтей своих – чтоб похитить после удачи... О, я бы поставил Спасу свечу в его рост, если б он воротился в живые – дал бы бочку вина тому, кто мне скажет, что он очнулся.

– Очнулся, очнулся! – закричали многие.

И в самом деле князь Серебряный вздохнул, открыл очи и, будто пробудясь от страшного сна, озирался кругом боязливо; ручьями текла вода по бледному челу его – Агарев кинулся обнимать спасенного.

– Слава Богу на небе – ты опять наш, милый князь, да и можно ль умирать после такой победы? Уже и дрались молодецки – особенно ты, орел орлович, то-то запируем теперь!

Так восклицал Агарев, мешая несвязно приветы с поздравлениями... Зеленский, как сумасшедший, прыгал от радости – стрельцы толпились, чтоб увериться в отрадной весте. Один только князь не делил общего восторга – он будто припоминал что-то – чего-то искал в мыслях своих... ему казалось, будто по выстреле Жеготы пронзительный стон оледенил его сердце – будто он родился, как из лона воды, но был знаком ему – и этот-то ужасающий стон ослабил удар, ниспавший на грудь разбойника; но где, но как, но кем произнесен был он – в том отказывала его память.

– Где она? – наконец вскричал князь нетерпеливо. Все молчали.

– Где она, где? – повторил он, и страх изобразился на лице: видно было, что он еще более

боялся, чем желал ответа, угадывая его на померкших лицах окружающих. Сверхъестественные силы влились в него, он поднялся на ноги, ступил несколько шагов, пытая взорами окрестность, – перед ним лежала раненая Варвара!!

В головах ее стоял рыболов, опершись на весло, и плакал. Священник, совершив обряд причащения, перевязывал рану – пуля пробилась ей навыворот грудь, выше сердца. Лицо ее было бледно, как снег, однако ж покойно... Волосы струились по плечам.

Она уже не могла говорить – но, радостно улыбаясь при виде князя, она захватила немного земли рукою, бросила ее на сердце и подняла очи к небу – две слезы выкатились из них – чело ее просияло неземным блаженством...

– Бесценная Варвара! – воскликнул князь, упавая к ногам ее, – хоть одно слово, хоть один взор еще...

Все плакали навзрыд – чужие, незнакомые проливали слезы – каково ж было тогда сердцу, ее любившему? Князь не мог плакать, не мог стенать – отчаяние его было выше выражений смертных. Он только восклицал: «Варвара!» – но к ней не долетал уже призыв жизни – Варвара Васильчикова уже не существовала.

Дата создания: 1831, опубл.: Сын отечества, 1831, N 7 – 16.

Примечания

1

Взору всякого (лат.)

2

Достаточно красноречия, мало мудрости (лат.)

3

Если неправда, то складно (ит.).

4

верьте опытности

5

возлюбленный друг мой (ит.)